



а.ДОВЖЕНКО

александр довженко

а. довженко

Зачарованная Десна

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

МОСКВА

1964

а. довженко

Зачарованная Десна

Рассказы

Из записных книжек



Книга прозаических произведений выдающегося советского кинорежиссера Александра Довженко открывается автобиографической повестью «Зачарованная Десна». Это поэтическое произведение, написанное с радостью и болью, с нежностью и суровостью. О духовном мире мальчика из небогатой крестьянской семьи рассказано психологически глубоко и правдиво. Перед читателем предстает седобородый, похожий на бога дед мальчика, великая «ругательница» и «проклинательница» бабушка, талантливый и своеобразный человек — отец. Эта повесть во многом раскрывает перед нами истоки творчества А. Довженко, подчеркивая с детства проявившуюся в нем любовь к искусству.

В книгу вошли рассказы, посвященные подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, и материалы «Из записных книжек» писателя.

А. П. Довженко писал по-украински и по-русски. Произведения, написанные по-украински, даются в переводах.

Зача-
ро-
ван-
ная
Десна

В этом кратком наброске автобиографической повести автор спешит сразу же сделать некоторые признания: в его реальный повседневный мир все чаще и чаще начинают вторгаться воспоминания.

Что вызывает их? Долгие годы разлуки с землей отцов, или так уже положено человеку, что приходит время, когда выученные в давно прошедшем детстве басни и песни возникают в памяти произвольно и заполняют дом в самое порой неподходящее время.

Очевидно, то и другое в одинаковой мере, равно как и желание, перебирая драгоценные детские игрушки, то и дело проглядывающие в наших делах, познать основу своей природы на ранней заре, у самых ее истоков. И первые радости, и сожаления, и восторги первых очарований...

До чего же весело было когда-то в нашем огороде! Выйдешь из сений, посмотришь вокруг — зелень буйная! А сад как зацветет весной! А что делалось в начале лета — огурцы цветут, тыквы цветут, картошка цветет; цветут малина, смородина, табак, фасоль. А подсолнечники, мак, горошек, укроп! Чего только не насадит в огороде наша неугомонная мать.

— Ничего на свете так я не люблю, как сажать что-нибудь в землю, чтоб произрастало. Когда вылезает из нее всякая былиночка, вот то моя радость, — любила приговаривать она.

Огород до того был переполнен растениями, что где-то среди лета они уже не вмещались в нем. Они ползли одно на другое, переплетаясь, давили друг друга, взбираясь на хлев, на стреху, ползли на тын, а тыквы свисали с тына прямо на улицу.

А малины красной и белой! А вишен, а груш сладких наешься — целый день живот как барабан.

И росло еще, вспоминаю, много табаку, в котором мы, маленькие, ходили словно в лесу и где познали первые мозоли на детских своих руках.

А вдоль тына за старым сараем росли большие кусты смородины, бузины и еще каких-то неизвестных растений. Туда мы редко лазили. Там было темно даже днем, и мы боялись гадюки. Кто из нас в детские годы не боялся гадюки, так и не увидев ее ни разу в жизни?

Возле хаты в саду цвели жасмин, георгины, настурции, мальвы, а за хатой, против сений, возле вишен, была поросшая полынью старая погребня с открытым люком, откуда всегда пахло плесенью. Там, в погребе, в сумерках прыгали жабы. Наверно, там водились и гадюки.

На погребне любил спать дед.

У нас был дед, очень похожий на бога. Когда я молился богу, я всегда видел в красном углу портрет деда в старых

серебряно-фольговых ризах, а сам дед лежал на печке и тихо кашлял, слушая мои молитвы.

В воскресенье перед иконами горела синенькая лампадка, в которую всегда набивалось полно мух. Образ святого Николая-угодника тоже был похож на деда, особенно когда дед подстригал себе бороду и выпивал перед обедом рюмку водки и когда мать не сердилась. Святой Феодосий больше был похож на отца. Феодосию я не молился. У него была еще темная борода, а в руке длинный посох, как у пастуха. А вот бог, похожий на деда, тот держал в одной руке круглую солонку, а тремя пальцами другой как будто собирался взять зубок чеснока.

Звали нашего деда, как я уже потом узнал, Семеном. Он был высок и худ, и чело у него было высокое, а волнистые волосы седые, а борода белая. И была у него большая грыжа еще с молодых чумацких лет. Пахнул дед землей и немножко мельницей. Он был грамотен по-церковному и по праздникам любил торжественно читать псалтырь. Ни дед, ни мы не понимали прочитанного, и это всегда волновало нас, как чарующая тайна, придававшая прочитанному особый, не будничный смысл.

Мать ненавидела деда и считала его чернокнижником. Мы не верили матери и защищали деда от ее нападков, потому что псалтырь в середине был белый, а толстый его кожаный переплет — коричневый, как гречневый мед или старое геле-нище. В конце концов мать тайком все же уничтожила псалтырь. Она сожгла его в печи по одному листочку, боясь сжигать все сразу, чтоб вдруг он не взорвался и не разнес хату.

Любил дед приятную беседу и доброе слово. Иногда по дороге на луг, когда кто-либо спрашивал у него шлях на Борзну или в Батурин, он долго стоял посреди дороги и, размахивая кнутищем, кричал вслед путнику:

— Прямо, да прямо, да прямо, да никуда же не сворачивайте!.. Добрый человек поехал, дай ему бог здоровья, — вздыхал он ласково, когда путник исчезал в кустах.

— А кто он, добрый этот человек? Откуда он?

— А кто его знает, разве я знаю?.. Ну, чего стоишь как вкопанный? — обращался дед к коню, садясь на телегу. — Но-о, трогай, ну-у!..

Он был нашим добрым духом луга и рыбы. Грибы и ягоды собирал он в лесу лучше нас и разговаривал с конями, с телятами, с травами, со старой грушей и дубом — со всем живым, что росло и двигалось вокруг.

А когда мы, бывало, наловим бреднем рыбы и принесем к нашему куреню, он, усмехаясь, укоризненно качал головой и говорил с чувством тонкой жалости и примиренности с бегом времени:

— А-а! Разве это рыба? Казна-що, не рыба. Вот когда-то была рыба, чтоб вы знали. Бывало, как пойдем с покойным Назаром, царство ему небесное. Ой-ой-ой!..

Тут дед уводил нас в такие сказочные дебри старины, что мы переставали дышать и бить комаров на икрах и на шее, и тогда уже комары нас поедали как хотели, пили нашу кровь, наслаждаясь. И давно уже вечер проходил, и крупные рыбы скидались в Десне между звездами, а мы все слушали, раскрыв широко очи, пока не повергались в сон в душистом сене под дубами над зачарованной речкою Десной.

Лучшей рыбой дед считал линя. Он не ловил линей в озерах ни бреднем, ни топтушкой, а просто брал из воды руками, как китайский фокусник. Лини словно бы сами плыли к его рукам. Говорили, он знал какое-то слово.

Летом дед часто лежал на погребне поближе к солнцу, особенно в полдень, когда солнце припекало так, что все мы, и наш кот, и собака Пират, и куры прятались в цветы, в смодину или в табак.

Больше всего в жизни любил дед солнце. Он прожил под солнцем около ста лет, никогда не прячась в тень, так под солнцем у погребни, возле яблони, он и помер, когда пришло его время.

Любил дед кашлять. Кашлял он порой так долго и громко, что, сколько мы ни старались, никто его не мог как следует передразнить. Его кашель слышала вся околица. Старые люди по дедову кашлю предсказывали даже погоду.

Порой, когда солнце припечет с особенной силой, он весь синел от кашля и ревел, как лев, хватаясь обеими руками за живот и задирая ноги вверх, совсем как маленький. Тогда Пират, спавший обычно возле деда в траве, схватывался и бросался спростонья в любисток и оттуда уже лаял на деда.

— Не гавкай хоть ты мне. Чего б это я гавкал, — жаловался дед.

— Гав! Гав!

— А, чтоб тебя!.. Кх-кх!..

Тысячи тончайших дудочек вдруг начинали играть у деда в груди. Кашель клескотал у него, как лава в вулкане, долго и грозно, и очень не скоро, после самых высоких нот, когда дед был уже весь синий, как цветок крученого паныча, мы должны были разбежаться куда попало, и вслед нам долго еще неслись дедовы громы и блаженное кряхтенье.

Спасаясь так однажды от дедова рева, прыгнул я как-то из-под смородины прямо в табак. Табак был высокий и очень густой. Он цвел пышными зеленовато-золотистыми кистями, как у попа на ризах, а над ризами носились пчелы — видимо-невидимо. Крупные табачные листья сразу опутали меня. Я упал в зеленую гущу и полез под листьями прямо к огурцам. В огурцах тоже были пчелы. Они сновали вокруг цветков и так быстро летали от подсолнечника к маку и домой и так им было некогда, что, сколько я ни старался, как ни дразнил их, так ни одна пчела в тот день почему-то меня не ужалила. А жало пчелы хоть и болит, зато уж, когда начнешь

плакать, дед или мать сразу дают тебе медную копейку, которую надо прикладывать к больному месту. Тогда боль быстро проходила, а за копейку можно было купить у Мусия в лавочке четыре конфеты и наслаждаться до самого вечера.

Погулявши у пчел и наевшись огуречной завязи, набрел я, помню, на морковь. Больше всего почему-то я любил морковь. Я и сейчас люблю ее. Она росла у нас ровными кудрявыми рядочками всюду между огурцами. Я оглянулся — не смотрит ли кто. Никто не смотрит. Вокруг только дремучий табак, да мак, да кукурузные тополя и подсолнечники. На полуденном небе ни облачка, и тишина такая, словно все заснуло. Одни только пчелы гудят, да издали, из-за табака, от погреба, доносилось дедово рычание. Тут мы с Пиратом и бросились к моркови. Вырываем одну — мала. Листья крупные, а сама морковочка беленькая, маленькая и совсем не сладкая. Я за вторую — еще тоньше. Третью — тонка. А моркови захотелось, дрожу весь. Перебрал я целый ряд, да так и не нашел ни одной. Оглянулся, — что делать? Тогда я быстро посадил всю морковь обратно — пусть, думаю, подрастет, — а сам подался дальше искать себе сладостей.

Долго ходил я по огороду. После моркови я еще высасывал мед из табачных цветов и из цветов тыквы, что росли под тыном. Пробовал зеленые калачики и белый, еще в молоке, мак, отведал вишневого клею, понакусывал на яблоне с десяток зеленых яблок и хотел уже идти в хату... Вдруг смотрю — баба бежит у моркови, дедова мать. Я бегом, а она — глянь да за мной. А я тогда — куда бежать? Да повалил подсолнечник — один, другой...

— Куда ты, чтоб тебе ноги повысохли?!

Я — в табак. Побегу, думаю, в малину, да ползком под табаком. Пират за мной.

— Куда ты, табак ломаешь, чтоб тебе руки и ноги поломало! А чтоб ты не вылез из того табака до второго при-

шествия, чтоб ты завял, висельник, как завяла морковочка от твоих каторжных рук!

Не вдаваясь глубоко в исторический анализ некоторых культурных пережитков, замечу: у нас на Украине простые люди в бога не особенно верили. Персонально верили больше в святых, в мать Божию, в Николая-угодника, Пантелеймона, Илью, верили также в нечистую силу. Самого же бога не то чтоб не признавали, а просто из деликатности не отваживались утруждать непосредственно. Повседневные свои интересы простые люди хорошего воспитания, к которым относилась и наша семья, считали по скромности недостойными божественного вмешательства.

Поэтому с молитвами обращались в более мелкие инстанции, к тому же Николаю, Петру и прочим. У женщин была своя стежка — они доверяли свои жалобы божьей матери, а та уже передавала сыну или святому духу в виде голубя. Верили в праздники. Помнится, баба нередко говорила мне: «А чтоб тебя побил свято рождество» или «Побей его святая пасха».

Итак, быстро пробежав через табак в направлении сада, баба бросилась с разгону на колени. Вот так, как дед любил тишину и солнце, так его мать, а наша прабаба, которую, как я потом узнал, звали Марусей, любила проклятия. Она проклинала все, что попадалось ей на глаза, — свиней, кур, поросят, чтоб не скуликали, Пирата, чтоб не лалял, детей, соседей. Кота она проклинала ежедневно по три раза, так что он впоследствии как-то захворал и отправился на тот свет.

Она была маленькая и такая быстрая и глазки имела такие видущие и острые, что спрятаться от нее не могло ничто в мире. Ей можно было по три дня не давать есть, но без проклятий она не могла бы прожить и дня. Они были ее духовной пищей. Они лились из ее уст потоком, как стихи у вдохновенного поэта, по самому, казалось бы, ничтожному

поводу. У нее тогда блестели глаза и румянились щечки. Это было творчество ее пламенной, темной, престарелой души.

— Матерь божия, царица небесная, — взывала она в самое небо, — голубочка моя, святая великомученица, побей его, изверга, святым твоим омофором! Как выдергивал он из сырой земли святую морковочку, повывергивай ему, царица милосердная, и повыверчивай ему ручечки и ножечки, поломай ему, святая владычица, пальчики и суставчики! Царица небесная, заступница моя милостивая, заступись за меня, за мои молитвы, чтоб рос он не в гору, а вниз и чтоб не услышал ни зозули святой, ни божьего грома. Николай-угодник, скорый помощник, святой Юрий, святой Григорий на белом коне да на белом седле! Покарайте его десницами своими, чтоб не ел он той морковочки, да чтоб его болячки съели, да шашель бы его поточила...

Баба крестилась в небо с такой страстью, что содрогалась и тархтела вся от крестов.

В малине лежал поверженный с небес маленький ангел и плакал без слез. С безоблачного голубого неба упал он внезапно на землю и поломал свои тоненькие крылья у моркови. Это был я. Притаившись за кустом смородины, я слушал бабины молитвы как замороженный. Я боялся пошевелить пальцем, чтобы мать божия не увидела с неба, что я здесь, в малине. Даже Пират и тот смотрел на бабу с перепугом. Не знаю, чем бы кончились бабины молитвы, может быть, у меня тут же отнялись бы руки и ноги, если бы не послышался вдруг с погребни ласковый голос моего деда, который проснулся от бабьих молитв.

— Мама, а не принесли бы вы мне мисочку узвару! — обратился он к праматери. — Так чего-то в животе припекло.

— Га?! Это ты тут лежишь, чтобы ты не встал!

И понеслась бабина гроза на погребню:

— Сейчас принесу, чтоб ты ел и не наедался, чтоб тебя разорвало, чтоб ты лопнул еще маленьким!..

Прабаба пошла в хату, а бог смотрел ей вслед с погребни и тихо усмехался.

О чем говорили дед и прабаба за узваром, я не слышал. Не до узвару мне было, не до разговоров. Я тихо пополз в самую гущу малины, к гадюкам, не зная, куда мне деваться и что делать.

«Эх, если бы мне сейчас умереть здесь, в малине. Пусть бы искали меня, пусть бы плакали надо мною, пусть жалели бы, какой я был хороший хлопчик, святая душечка! Пусть бы потом понесли меня на кладбище, а я возле ямы как оживу!.. Нет, зачем возле ямы. Я еще раньше оживу, да как поднимусь, а баба как побежит куда-нибудь и не вернется. А мы тогда в хату да за кутью». Я очень любил рисовую кутью. Когда кто-нибудь умирал, ее варили с медом, и тогда она называлась каливом. Я это знал, потому что у нас уже умерло пять мальчиков и две девочки.

Мне очень захотелось в хату: Я быстро полез вдоль плетня, мимо кучи навоза и тыкв, потом тихо проскочил в темные сени и остановился перед дверями хаты.

«Сейчас войду и увижу все». У меня похолодело в середине, словно я наелся мяты. Я открываю дверь.

Кто и когда построил нашу хату, какие архитекторы — неизвестно. Казалось нам тогда, что ее совсем никто не строил, а выросла она сама, как гриб, между грушей и погребом, и похожа была она тоже на старую белую сыроежку. Любили мы ее, как пчелы улей. Одно, что в ней не особенно нравилось, и то не нам, а матери, — окна росли в землю и не было замков. В ней ничто не запирали. Заходите, будьте любезны, не спрашивая: можно? Милости просим!

Мать жаловалась на тесноту, но нам, малым, простору и красоты хватало вполне, а еще когда глянуть в окно, так видны и сад, и груши, и подсолнечники, и небо — простора, сколько глаз хватает. А вдоль белой стены под богами висело множество прекрасных картин: Почаевская лавра, Киевская

лавра, вид Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря близ города Сухуми на Кавказе. Над лаврами парили в воздухе божии матери с ручниками и ангелы с белыми крыльями, как у гусakov. Были также и светские сюжеты: жизнь человека, Георгий Победоносец и казак Мамай.

Но картиною над всеми картинами, над всеми лаврами, царями и князьями была картина страшного божьего суда, которую мать выменяла на ярмарке за курицу на страх своим врагам — прабабе, деду и батьку. Она была столь страшна и поучительна, что на нее боялся смотреть даже Пират. Верхнюю часть картины занимал дед и все святые. Посередине вылезали из гробов мертвецы, одни в рай — вверх, другие — вниз. Через всю середину картины и по всему низу выкручивался громадный голубой уж. А под ужом внизу, куда ни глянуть, все горело, как на пожаре. То было пекло. Там горели грешные души и черти. А в самом низу картины, в отдельных клетках, было намалевано что-то вроде преискуранта кар за грехи: кто любил врать или дразниться, висел в огне, подвешенный на крюке за язык; кто не постился — за живот; кто ел тайком в пост сливки или жарил яичницу с салом, — тот на раскаленной сковороде голым задом; кто гадко ругался, тот, наоборот, лизал сковороду языком.

Много было разных грехов и много кар, но никто у нас их почему-то уже не боялся. Вначале я ужасался этого суда, потом постепенно привык, как солдат на войне к грому орудий.

В нашей семье почти все были грешны: достатки маленькие, сердца горячие, работы и всякого неурейства бездна, а тут еще фамильная приверженность к острому слову, поэтому хоть и думали иногда о рае, все же больше надеялись на пекло внизу картины. Тут уже все имели свои насиженные места. Батьку черти наливали в рот горячую смолу, чтоб не пил водки и не бил матери. Баба лизала горячую сковороду

за долгий язык и за то, что была великой волшебницей. Деда — мать божилась, что это правда, — дед держал в руках сам дьявол за то, что он был чернокнижник и, читая по праздникам волшебный псалтырь, проклинал ее, вследствие чего она третий год часто хворает. Ту черную книгу она, бедная мученица, разрывала тайком на листки и разбрасывала в хлеву, в кошаре, в малине, но листки будто бы сами слетались обратно в волшебный переплет. Кроме того, дедову покойному отцу Тарасу когда-то давно, еще в старые времена, змей носил по ночам деньги в трубу золотые.

И действительно, в нижнем правом углу картины у дьявола на руках сидел дед. Правда, он не очень был похож на нашего деда, потому что был голый, как в бане, и борода была не белая, а рыжая, присмаленная огнем, а волосы на голове от пламени стояли дыбом. Калита с деньгами была у деда в руках.

Старший брат мой Оврам давно уже был проклят прабабой, и его голая душа летела стремглав из левого верхнего угла картины прямо в ад за то, что разоряла гнезда голубей на чердаке и крала в пост масло и сало. Кроме того, душа его любила молоко и пенки.

Сама мать — она божилась, что это правда, — будет в раю среди святых, как болящая великомученица. Она молилась святому Георгию Победоносцу, который топтал на картине змея своим лошаком, и ежедневно просила его потоптать врагов своих, то есть отца, деда и прабабу, которые погубили ее жизнь.

Мать клялась, что однажды, давно, когда она спала в коморе, святой Георгий явился ей во сне, в белых ризах, на белом коне, с длинным копьём, и спросил ее, перепуганную до смерти:

— Се ты, Одарко?

— Я.

— Не бойся. Это я приснился, чтоб подать тебе знак: будешь ты теперь, Одарочка, творить моим именем людям добро.

С тех пор она объявила себя ворожкой и стала лечить людей от зубной боли, перепуга и прочих болезней, хотя и сама хворала очень часто.

— Вот смотрите, где я, гляньте,— бывало, показывала она на какую-то святую душу возле божьей матери вверху картины Страшного суда. — Видите?

Мать так часто тыкала пальцем в эту праведную душу, что у души на месте лица образовалось коричневое пятно, вроде столицы на географической карте.

Но постепенно дела матери пошатнулись. Как-то она долго не давала прабабе есть, а прабаба тогда возьми и наколдуй что-то против нее. С того времени мать уже совсем расхворалась, а по ночам ее начал давить домовой.

Домовой жил у нас на печке и в печной трубе, в дымоходе. Голоса он не подавал никогда и очень был похож, говорили, на вывернутый черным мехом вверх тулуп.

Фактически святым был во всей хате один только я. И вот кончилась моя святость. Не надо было трогать морковь, пусть бы росла себе, а теперь...

Войдя в хату, я тихо приблизился к страшной картине и начал совсем по-иному разглядывать адские кары, нарисованные внизу. Кверху картины я боялся поднимать глаза. Там меня уже не было.

Какую же меру кары получит моя свежая грешная душа? Очевидно, за первый грех все же небольшую, так, может быть, не больше, чем этот огонь до косточек, что в левом углу. «Ай, ай!»

Я посмотрел в последний раз вверх на святых, где сидел весь их синклит, и мне стало жаль, что я уже не там, а здесь вот, на веки вечные в аду. И так стало жаль себя, что я

не выдержал, притулился головой к пеклу, как раз под дедовой калитой, и горько заплакал.

От созерцания адских мук у меня начало припекать в пятках, и я быстро побежал на цыпочках через сени во двор к клуне, подпрыгивая на горячей сковороде, которую лизала языком прабаба.

В газетах тогда ничего не писали о моих аморальных проделках, тем не менее я помню, что весь мир, которому я тогда принадлежал, активно реагировал на мой отчаянный крик на сковороде: захлопав крыльями, взвились над хатой голуби, закудахтали куры, проснулся Пират и вопросительно гавкнул: «А кто там бежит по двору?», вслед за тем со зловещим скрипом растворилась дверь, и на пороге темной коморы появилась баба.

— А, бодай, ты кричав и не переставав! — Сразу же бух на колени и к матери божьей в небо: — Мать божья, царица небесная! Як не дает он мне покою, не дай ему ни на том, ни на сем свете!.. — Потом узрела она в небесах голубей над хатой да к голубям: — Голубоньки мои, святые заступники, да чтоб не видел же он вашего перьечка святого и не услышал вашего гуркоту небесного, чтоб не вышло из него ни кравца, ни швеца, ни плотника, ни молотника!..

Дальше баба начала творить обо мне песню, причитая ее нараспев, словно колядку:

Да не орача в поли-и-и-и,
Ни косарика в лузи.
Не дай, бо-оже,
Да ни косарика в лузи,
Ни купца в дорози.
Ой, ни купца в дорози,
Ни рыбалочки в мори.

Потом, когда голуби уселись на крыше, она снова перешла на грозную прозу:

— Покарайте его, святые голубоньки, и ты, мать божья, такую работу, чтоб не знал он ни сна, ни стдыха, и пошли-те ему такого начальника. . .

Подробной характеристики будущего начальника я уже не слышал. Мне было уже не до начальства. Спасаться надо, пока не поздно. Забравшись в старую ладью, стоявшую давно уже в клуне, начал я думать, что же мне делать для поновления святости. И решил я творить добрые дела. Не буду, думаю, есть скоромного, стану носить бабе воду, сколько захочет, начну ходить в церковь. Потом я подумал, глядя на ласточек: «Эх, если бы выпали из гнезда ласточкины дети! Я сразу накормил бы их мухами и хлебом, только бы ласточки видели, на какие дела я способен, и рассказали Сусу Христу».

Но ласточкины дети не падали. Раскрыв широко рты, они назойливо и жалостно пищали, а у гнезда надо мной неустанно летали их отцы и носили им мошек.

«Что ж еще?» — думал я, оставив ласточек.

Пойду на улицу оказывать почтение великим людям. Дед говорил, что за это прощается много грехов на том свете. Пойду снимать перед ними шапку и говорить им «здравствуйте». Кстати, и старая дедова шапка оказалась тут же в ладье. Теперь уже нет таких шапок. Она была толстая и своим видом напоминала медный котел. И тяжела она была, как добрый котел. Сначала она лежала в сених, и кошка ежегодно выводила в ней котят, а сейчас котят баба потопила в копанке и шапку выкинула в лодку. Поэтому шапка пахла уже не дедом, а котами. Впрочем, разбираться было некогда. Было бы что снять с головы для почтения. Я надел шапку по самый почти рот и вышел за ворота творить людям добро. Но, как говорится, одна беда не приходит.

Улица была пуста. Все взрослые люди работали в поле. Только возле лавчонки, как раз против колодца, сидел в черном старом сюртуке лавочник Мусий, издали очень похожий

на ласточку. Но перед Мусием я не хотел снимать шапку. Дед говорил, что у этого Мусия не было души, поэтому он обманывал всех покупателей. За это бог справедливо наказал его, повелев вора своим обокрасть его лавчонку рублей, говорят, на десять, после чего жена и дети его долго шумели и плакали, и сам он громко и жалобно кричал от бедности и накликал на всех холеру. Наш батько хоть и смеялся над его шутовскими обычно ухватками, всегда жалел его, в лихую годину помогал ему, ни разу не оскорбив даже в нетрезвом виде.

Где мне найти человека для почтения?

Обойдя в безысходной тоске немало безлюдных переулков, я вспомнил наконец, что надо было сразу начинать со старого соседа Захарка. Он-то уж наверно сидит возле хаты.

Дед Захарко был кузнец, хотя я никогда не видел, чтобы он что-либо ковал. Обычно он ходил мимо нашей хаты с целым снопом длинных удок на плече и так гремел сапогами, что мы просыпались ночью, словно от грома, когда он возвращался с рыбной ловли. У него были такие тяжелые чеботы, что под ним прогибалась земля. И ходил он, как-то приседая и колыхаясь, словно шел по сну или по трясине. Борода у него была, как и у нашего деда, совсем уже седая, только посередине, там, где был рот, кто-то ткнул его рыжей кистью. Он часто курил возле хаты на старом бревне, глядя всегда в одну точку, как на поплавок. Курил он такой лютой табак, что около него никто не мог близко стоять. Его обходили не только мы, но и куры и поросята. Даже собаки обегали его огородами, а невестка Галька спала в коморе и часто плакалась нашей матери, что дед задушит ее своим табаком, и выбрасывала его нестерпимую свитку во двор. Говорили, что дедова запаха боялась даже рыба и плохо у него клевала. Когда он проходил мимо нашей хаты на рыбную ловлю, над улочкой долго висел в воздухе его табачный след.

Этот след долго будет висеть когда-то в моих картинах о родной земле, где сложит мой предок в последний раз свои мозоли на груди на белой сорочке, под яблоней, и морковь будет жить в картинах, и грех, и бабины проклятья, но это будет не скоро, а тем временем иду я, опечаленный мальчик, к старому кузнецу искупать свой первый грех.

— Здравствуйте, диду, — сказал я, снявши обеими руками шапку, и быстро пошел дальше.

Ответа не последовало. Дед меня не заметил. Очевидно, не услышал, подумал я. Надо вернуться назад и сказать еще раз громче.

— Здравствуйте, диду, — промолвил я еще раз дрожащим голосом, скинув тяжелую шапку, и начал прислушиваться, не скажет ли дед чего, не отпустится ли мне хоть немного греха.

Но дед не подавал голоса. Что делать? Куда податься?

Я вышел из переулочка на улицу в надежде увидеть еще кого-либо. Улица была пуста. Даже Мусий и тот исчез. У меня защемило в горле, какая-то тоска, а тут еще шея начала болеть от шапки. Постоял немного, подумал и вернулся еще раз к деду Захарку творить добрые дела.

— Диду, здравствуйте! Ну!

— Да иди ты пид три чорты! Не дразни меня, крутишься тут, нечистый вас носит! — разгневался дед.

Я громко и горько заплакал.

Было все это очень давно, когда не знал еще я, что все проходит, все изменяется в неотвратимой смене времен и что все наши печали и наши поступки текут, как весенние воды меж берегами времени. Поэтому страдания мои были безмерны и маленькая жизнь казалась мне загубленной навеки.

В безысходном отчаянии, поняв всю тщетность забот о спасении, помчался я что есть духу домой. Проскочив незаметно через огород к клуне, я снова лег в челн на старую дедову овчину и подумал: «Засну, думаю, и вырасту немнож-

ко во сне. Дед говорил, что я во сне расту». Вот так соображая, в старой дедовской ладье поплакал я еще немного и, согнувшись в бубличек, жалобно вздохнул:

«И зачем я родился на свет. Не надо было мне рождаться... Какой маленький лежу я в дедовом челне и столько уже знаю неприятных вещей. Как неприятно, когда баба тебя проклинает или долго идет дождь и не может остановиться. Или когда пиявка вопьется в икру. Или когда на тебя долго лают чужие злые псы или гуска пищит, вытянув глупую длинную шею, и хватает клювом за штаны, — тоже неприятно! И неприятно носить в одной руке ведро воды к бабе, да еще каждый день два или три раза, или полоть, или пасыновать тютюн. А когда пчелы дают тебе жало, приятно? А как неприятно, когда батько приходит домой пьяный и начинает бить коня, или кричать на деда, или трощить посуду. По стерне ходить босому неприятно. И очень неприятно смеяться в церкви, когда нельзя удержаться от смеха. И ехать на высоком возу с сеном тоже неприятно, когда воз вот-вот опрокинется в речку. А как неприятно смотреть на пожаре на великий огонь, а вот на малый приятно. И приятно обнимать лошонка с курчавым хвостиком; или зимой на печке, прбснувшись рано-рано, увидеть в хате теленка, которого корова привела в ночи. Приятно бродить по теплым лужам после дождя и грома, ловить руками карасей и щучек, замутив воду, или смотреть, как тянут в озере бредень. Приятно найти в траве птичье гнездо, или есть пасху, или когда весною вода заливает хаты, и клуни, и улицы, и все тогда бродят по воде. А как приятно спать во ржи, в просе, в ячмене, во всяких семенах на печке. Приятно, когда волокут копны сена к стогу, ходить вокруг стогов по семенам. И запах всяких семян приятен. Приятно, когда яблоко, про которое думаешь, что оно кислое, оказывается сладким. Приятно, когда дед, бывало, зевает на лугу. Или когда разговаривает с конем или лошаком, как с людьми. И очень любил я, когда

где-нибудь по дороге незнакомый, проходя мимо нас, говорил: «Здравствуйте!» И когда дед ласково отвечал в темноту: «Дай бог здравствовать».

Приятно, когда рыба плещется в озере или в Десне перед заходом солнца или когда тебя везут ночью домой с сенокоса и ты, лежа, смотришь на звезды в небе.

Любил я засыпать на возу и любил, когда воз останавливался у хаты во дворе и меня сонного переносили в хату. Любил скрип колес под тяжелыми возами в жнива. Любил птичье щебетание в саду и в поле, ласточек любил в клуне, дергачей и перепелок на лугу, любил плеск весенних вод и жабье нежное, минорное кумканье в болоте, когда спадали воды весною. Любил песни девичьи, колядки, веснянки, сбжинки. Любил, когда яблоки падали в саду вечером в сумраке, когда падали они неожиданно, как бы тайком, на землю, в траву. Какая-то тайна и вечная неуклонность ощущались всегда в этом падении плода. И гром тоже приятен, хотя мать и боится его. Приятен гром с дождем и ветром за его подарки в саду.

Так постепенно приятное брало верх над неприятным и обидным, и я незаметно начал засыпать и расти. В самое последнее мгновение, перед тем как погрузиться в сон, исчезли все мои горести и страхи. И старый просмоленный дедовский челн вдруг как-то словно покачнулся подо мной, выплыл из клуны в сад и понесся мимо яблонь, ульев, малины, табака и мимо прабабы на голубой простор, а в небе надо мной, под облаками, похожими на великанов и пророков, летали голуби, которых я любил.

Но больше всего в жизни любил я музыку. Если бы спросил меня кто-нибудь, какую музыку любил я в раннем детстве, какой инструмент, каких музыкантов, я бы сказал, что больше всего любил я слушать клепанье косы. Когда тихим вечером, где-то перед Петром и Павлом, начинал наш батько клепать косу под хатой в саду, это и была для меня самая

чарующая музыка. Я так любил ее и так ждал, как разве ангелы ждали церковного звона на пасху, прости, господи, за сравнение! Порой и теперь еще кажется мне, что... поклепай кто-либо косу под моим окном, я сразу помолодел бы, подобрел и бросился в работу. Высокий, чистый звон косы предвещал мне радость и утеху с самых ранних лет.

— Не плачь, Сашко, — утешал меня прадед Тарас, когда я начинал почему-либо реветь, — не плачь, дурачок, поклепаем косу, да пойдем на сенокос, на Десну, да накосим сена, да наловим рыбы, да наварим каши...

И я умолкал. А Тарас тогда, дедов батько, брал меня на руки и рассказывал про Десну, про травы, про таинственные озера — Церковное, Тихое, про Сейм, — а голос у него был такой добрый, а взгляд очей и огромные, как коренья, волохатые руки были такие нежные, что, наверно, никому и никогда не учиняли зла на земле, не украли, не убили, не отняли, не пролили крови. Знали труд и мир, щедрость и добро.

— ...Да накосим сена, да наварим каши. Не плачь, хлопчику.

И я умолкал тогда. Потом кончиками пальцев я как-то отрывался от земли, сразу же оказывался на Тихом, на Церковном, на Сейме. Это были самые лучшие в мире озера и речки мои. Таких больше нет и не будет нигде никогда...

Вот так, мечтая в ладье на старой дедовой овчине, постепенно закрыл я глаза. От этого не стало темно у меня в голове. Закрывая очи, по сей день я не знаю еще темноты, еще светит мой мозг, непрерывно и ясно освещая видимое и невидимое без числа и порой без порядка в безграничной череде картин. Картины плывут над Дунаем, Десною, тучи по небу плывут прихотливо и вольно и, плавая в голубых просторах, учиняют битвы и состязания в таком числе, что, если бы хоть малую их долю судилось мне поставить в ясный

книжный или картинный ряд, недаром жил бы я на свете и огорчал начальников своих недаром.

Чего только не видел я на одном лишь небе! Облачный мир был переполнен великанами и пророками. Великаны и пророки непрерывно состязались в битвах, и детская душа моя не всегда их принимала, впадая порою в печаль.

Беспокойство, движение и борьбу я видел везде — в дубовой и вербовой коре, в старых пнях, в дуплах старых верб, в болотной воде, на старых поколупанных стенах. На чем бы ни остановился мой глаз, всюду и везде я вижу что-то похожее на людей, коней, волков, гадюк, святых, что-то похожее на войну, на пожар, драку или потоп. Все жило в моих очах двойной жизнью. Все призывало к сравнениям, все было на что-то похоже, давно где-то виденное, воображенное, пережитое...

Что же это я делаю?

Мне надо писать про старую ладью, а я пишу про облака. Про старый челн в сарае, про старую ладью...

Да. Вот так, говорю, рассуждая в челне, закрыл я глаза и начал расти. И вот незаметно челн как-то тихо-тихо закачался подо мною и поплыл из клуни в сад по траве между деревьями и кустами, мимо погребни и любистка, и проплыл мимо деда. Дед почему-то стал маленьким, меньше меня. Он сидел у бабы на руках в белой сорочке и ласково усмехался мне вслед. А челн понесло и понесло через сад и луг на Заречье, а из Заречья мимо хуторов на Десну.

Зайграй, музыка, запойте, птицы в небе, жабы под берегами, дивчачочки под вербами. Я плыву за водою. Я плыву за водою, и мир плывет надо мной. Плывут тучки весенние, весело состязаясь в небе, плывут перелетные птицы — утки, чайки, журавли. Летят аисты мои — черногузы, как дядьки, во сне. Проплывают лозы, вербы, вязы, тополя в воде, зеленые острова,

Вот такое что-то удивительно хорошее приснилось тогда мне в просмоленной старой лодке — забыл. А может, и не снилось? Может быть, действительно все это было на Десне?

Было и на самом деле, только очень давно, и уже все минуло и растерялось где-то на дорогах, и никогда уже не вернется святость босоногого детства, и табак не зацветет для меня уже пышными ризами, и не мучаюсь я уже картиной страшного божьего суда, а пугаюсь людского.

Одни только желания творить добрые дела и остались при мне на всю жизнь, и хоть сами дела почему-то не творятся по лености ли души или недостатку гнева, спасибо ласточкам и пчелам за эти желания. Прошли мои лета, и день повечерел, и я уж не летаю, и так мне жаль и хочется седлать мне коней вороных... Где вы? Где вы? Приплывайте хоть вы, поспешайте.

И плывут ко мне в гости думы-раздумья на вербовых за-десненских челнах, на дубах за водой, из родного края везут мне... Чего тебе?... Ну, что тебе?..



Нянчили меня в раннем детстве четыре няньки. Это были мои братья: Лаврин, Сергей, Василько и Иван. Пожили они что-то недолго. Рано, говорили, начали петь. Бывало, вылезут все четыре на тын, сядут в ряд, как воробушки, да как начнут петь! И откуда они перенимали песни, кто их учил — никто не учил. Когда они умерли от эпидемии сразу в один день, люди говорили: «Это господь забрал их для своего ангельского хора». Они действительно пропели все свои песни за маленький свой век, как бы чуя короткую свою судьбу. Недаром некоторые женские тонкие души не выдерживали их пения. Женщины смотрели на них и, грустно кивая головами, плакали, сами не зная отчего: «Ой, не будет добра из этих детей!»

Случилось это, помню, говорили, в троицын день. Лихо пришло в нашу белую хату. Мне тогда еще шел первый год.

Узнав на ярмарке в Борзне, что дома дети погибают от неизвестной болезни, ударил батько наш по коням. Как он промчался тридцать верст, беспощадно бия своих коней, чтоб спасти нас, как отчаянно громко звал на Десне паромщика и как дальше летел — об этом долго говорил потом. А дома уже видели только, как ударился он несчастными конями в ворота, как разбились ворота и покалеченные кони пали в кровавой пене. Бросился батько к нам, а мы уже мертвые лежим, один лишь я живой. Что делать? Бить обезумевшую мать? Мать и так полумертвая. Горько заплакал наш батько над нами:

— Ой, сыны мои, сыны!!! Деточки мои, соловейки, соловушки. Да зачем же так рано свое вы пропели!..

Потом он называл нас орлятами, а мать звала соловушками. А люди рыдали и долго жалели, что уже ни рыбаков не выйдет из нас, ни косарей на лугу, ни пахарей в поле, ни уже воинов отчества-царя.

С чем сравнить глубину отцовского горя? Разве с темною ночью. В горьком отчаянии проклял тогда он имя божье, и бог смолчал. Явись тогда он даже во всей своей силе, батько, наверно, пронзил бы его вилами или зарубил топором.

Священника он выгнал вон со двора и в гнев заявил, что сам будет хоронить детей своих. Подобный взрыв отчаяния и гнева уже не на бога, а на нас, взрослых, видела мать у него над Днепром через полстолетия, когда снова плакал он на покинутых киевских горах, укоряя нас всех до единого. Прав был или неправ обездоленный плененный старец, не нам судить. Давно известно всем, что сила страдания измеряется не так гнетом внешних обстоятельств, как глубиной потрясения. А кого, уж кого не потрясла жизнь!

Много видел я красивых людей, но такого, как мой батько, не видел. Голова у него была темноволосая, крупная, и

большие разумные серые глаза. Только в глазах почему-то всегда было полно печали: он был узником своей неграмотности и несвободы. Весь в плену у печального и весь в то же время с высокой внутренней культурой мыслей и чувств.

Сколько он земли напахал, сколько хлеба накопил! Как красиво работал, какой был сильный, чистый! Тело белое, без единого пятнышка. Волосы блестящие, волнистые, руки широкие, щедрые. И как красиво ложку нес ко рту, поддерживая снизу корочкой хлеба, чтобы не покропить скатерть над самою Десною на траве. Шутки любил, меткое удачное слово, такт понимал и уважительность. Презирал начальство и царя. Царь оскорблял его достоинство мизерной рыжей бородкой, ничтожной фигурой и несолидным чином.

Одно, что было у него некрасиво, — одежда. Ну такую носил одежду плохую, такую бесцветную, убогую, как будто бы изверги, чтобы унижить образ человека вообще, накрыли античную статую рваным отрепьем. Идет из кабака домой, плетет ногами, глядя в землю, — плакать хотелось мне в малине с Пиратом. И все равно был красив — столько скрывалось в нем богатства. Косил он или сеял, кричал на мать или на деда, или улыбался детям, или бил коня, или самого жестоко били стражники, — одинаково.

Когда, покинутый всеми на свете, восьмидесятилетний старец, стоял он на площади, беспризорный, в фашистской неволе и люди уже за нищего его принимали, он и тогда был прекрасен. С него можно было писать образы рыцарей, богов, апостолов, великих ученых или сеятелей — он годился на все.

Много заготовил он хлеба, много накормил, спас от беды, много земли перепахал, пока не освободился от своей грусти. Во исполнение вечного закона жизни, склонивши седую голову под северным небом, шапку сняв и мысли осветив молчанием, обращаю я невеселый талант свой к нему, пусть сам продиктует мне свою заповедь.

Вот он стоит передо мной, далеко на киевских горах. Прекрасное лицо его посинело от фашистских побоев, руки и ноги опухли, печаль залила его очи слезами, и я еле слышу его далекое — «деточки мои, соловушки...».



Как-то ночью в нашей хате, которая, как уже известно, выросла по окна в землю, случились два события. Проснувшись ранним утром на печке, где спал я в просе или во ржи — простите, вру, — в ячмене... проснувшись в душистом ячменном зерне, слышу — что-то творится в хате необыкновенное, как в сказке: дед плачет, мать плачет, курица в сенях кудахчет, и пахнет чем-то вроде церковным. А на дворе Пират ярится на нищих. А нищие старцы, слышу, скрипят уже в сенях и шарят по дверям, ища дверную ручку.

Я открываю глаза и не успеваю как следует еще проснуться — мать подходит к запечку и протягивает на печь руки с корытом, а в корыте повитое белыми пеленками, как на картинке, дитя.

— Ты уже проснулся, сыночек? А я тебе ляльку привела, дивчинку. Ось, бачь, яка!

Я глянул на ляльку. Она мне сразу почему-то не понравилась. Я ее даже немножко испугался: мордочка с кулачок и сизая, как печеное яблочко.

— Какая хорошая. Ну просто куколка, — нежно и трогательно промолвила мать. — И зевает, глянь. Голубочка ты моя сизая, цветочек мой!

На счастливом материнском лице, светившемся от радости, я заметил вдруг слезы. Что мать была очень тонкослезная, мы знали все, но зачем же ей плакать сейчас, подумал я.

— Чего это вы, мамо?

— Это я плачу для деда, чтоб не обижался, добра б ему не было, — радостно прошептала она мне на ухо. — Знаешь, какое у нас диво случилось?

— Какое?

— А пропал же я теперь, сиротина! Ка-хи! — послышался вдруг отчаянный крик деда, после чего дед заревел от такого ужасающего кашля, что побелка посыпалась с потолка на пол. Только в дудочках и в петушках, игравших в дедовом кашле, где-то прорывалась отчаянная тоска.

Я тогда быстро поднимаюсь и глянь через камин: ой! Прабаба лежит на столе под богами, дедова мама, Маруся, сложивши ручки и тоже по-своему словно бы усмехаясь. Никто уже теперь не будет ее ни дразнить, ни укорять долгой жизнью. Набегавшись и наколовши босые ноги за сто с чем-то лет, лежит тихонечко прабаба головой к царям и к князьям и к Страшному суду. Закрылись навсегда всевидящие глазки, иссякло ее народное творчество, и все ее проклятия улетели из хаты вместе с душой.

Ах, если бы кто знал, какая это радость, когда умирают прабабы, особенно зимою в стареньких хатах! Какое это счастье, какое утешение! Хата сразу становится просторной, воздух чистый, и светло, как в раю.

Я быстро слезаю с печи на запечек, оттуда прыгаю в дедовы валенки и мимо нищих стремглав выбегаю во двор. А на дворе солнце греет. Голуби летают, никем не проклятые. Пират весело играется цепью и проволокой. На старой крыше петух поет, гуси с кабаном едят из одного корыта в полном согласии, воробьи чирикают. Батько доски строгают для бабы. Снег тает. С крыши вода каплет...

Так я тогда прыг на мокрую кучу упругой лозы и давай качаться вверх-вниз, вверх-вниз! А по дороге с ведрами по воду идет дед Захарко, дед кузнец Захарко. А я кричу:

— Ой, диду, диду, у нас баба вмерла! Вот ей-богу, правда! — Да как засмеюсь!

— Ах ты разбойник! — закричал Захарко. — Ты над чем смеешься? Над чем ты смеешься?! Вот я тебе всыплю!..

Вдруг появился рыжий бычок Мина, любивший бодаться, рожки зачесались, — а тут по бокам еще и на самом череве кизяки примерзли и живот щекотали. Так он тогда открыл калитку этими рогами, что так зачесались, и вперед на Захарка!

А тот тогда начал материться гадкими словами и проклинать Мину, чтоб он не бодался, и с криком: «Спасите, кишки выпускает!» — как-то поскользнулся и бац в лужу.

А пёс тогда видит, как бодает Мина кузнеца Захарка, как тархтят ведра, как кудахчут куры, батько гроб готовит, из стрех вода каплет, да как залает!

— Тах-тах, тах-тах! — затахтали утки, зашипели гуси, испугались куры, разлетелись воробьи. А Пират проклятый как тут подпрыгнет, забыв, очевидно, что он не на воле, — гар-гар! — да бычку вдогонку, протянув по проводу через все подворье — р-р-р! — такое крещендо, что провод порвался.

На какое-то мгновение настала тишина. Над хатою поднялись в небе голуби, знаменуя мир и благодать. Я захлебывался от счастья и так насмеялся, что продолжать рассказ в таком духе уже не хватает сил. Поэтому, чтоб не впасть с малых лет в символику или биологизм, перейду лучше на бытовую прозу, тем более что она сама уже приближается: справа и слева со стороны колодца и из-за клуни журавлиными тучами появляются новые нищие.

Почуяв, очевидно, нюхом бабин мертвый дух, слепцы безошибочно сворачивают с дороги в нашу улочку и начинают петь:

Тела ваши лягут червям на расточение.

Кости ваши примет сырая мать-земля.

Тогда не помогут ни друзи, ни братья,

Только вам поможет милостыня ва-а-ша-а...

Обвешанные большими торбами, задрав бельма, словно усмехаясь в небо, они пели свои жуткие песни, держась

друг за друга и за длинные посохи, приводившие Пирата в ярость.

С лютым лаем бросился он на всю их компанию. Он ненавидел нищих, а кроме того, ему хотелось услужить батьку, который тоже ненавидел нищенство. Только забыл Пират, что слепые имеют свои коварные ухватки, в чем он сразу же удостоверился на собственной шкуре.

— Ой, ой! — жалобно взывал он, когда их атаман Богдан Холод ударил его посохом по спине. — Никогда уже не залаю на слепых! Гав-гав! Н... н-гав! И чтоб было мне, дураку, кусать их за чеботы молча!..

Теперь уже нет таких калек и нет молитв таких и торб у бедности. Нет уже ни слепоты, ни бельм ужасных на очах, ни кривизны в ногах, ни горбов уже нет спереди и сзади: перевелись и исчезли вместе с кулаками.

Мать боялась и ненавидела слепцов, но дарила их всегда щедро. Она была женщина тщеславная и гордая, и ей, конечно, хотелось, чтобы хоть слепые считали ее богатой.

Слепых налезло полон двор. Богдан Холод, могучий и уже пожилой их вожак, не любил ходить с сумой по хатам. Он не годился на роль просителя. Не нравились ему ни люди, ни собаки, и неизвестно — был он слепой или зрячий. Он смотрел только вниз и носил такие густые нависшие брови, что из-под них, если даже и были у него глаза, они ничего, кроме земли под ногами, не видели. Перед его грозной фигурой запирались все двери, и все умолкало в хатах и сенях, пока не уйдет. Поэтому он редко ходил и свою дань обычно собирал, сидя возле рынка на перекрестке. Он не просил, он требовал. Его исполинский голос не годился для просьб.

— Подайте мне! Або копеечку!.. Або бубличек! Або яблочко! — взывал он грозным, хриплым басом, полным неудовлетворенности и досады. — Ну, люди! Ну, давайте уж, что милость ваша!.. Подайте, говорю, что-нибудь!.. Ну!..

И когда долго никто не откликнулся на его призывы, он лютно ударял палицей о землю:

— Га! Чтоб вам добра не было, волки б вас загрызли... Подайте!!

Однажды, ударив палкой о землю, он до смерти перепугал дочь нашего исправника Ковашевича, спешившую на свидание к какому-то паничу.

— Ай! — взвизгнула панночка и подпрыгнула как помешанная. — Спасите-е!

— Подайте!

На другой день полицейский жандарм Овраменко понизил слепца в правах: он запретил ему сидеть возле рынка. Холод осел тогда на околице на безлюдье, под старым хлевом, где его постепенно замучили жестокие дети околичных мещан.

— Туда ему и дорога, идолу. Людей хоть не будет пугать, — сказал наш батько и плюнул. — Не нищий был, нечистый его побери, а словно дуб, разбитый громом!

Батько относился с презрением к Холоду, сам не зная за что. Очевидно, за даром загубленную силу или за пропащий богатырский голос, всегда повергавший его в уныние. Вообще батько наш так ненавидел всякие недостатки, что даже само слово «бедность» никогда не произносил относительно своей особы. Вместо «моя бедность» он мог сказать «мое богатство», например: «Мое богатство не позволяет мне купить новые, извините, сапоги».

Из всех нищих батько признавал только Кулика. И хотя Кулик, одетый в поддевку и большие, неизносимые чеботы, казался внешне богаче батька, он не жалел для него милостыни и ни разу не оскорбил его словом. Он уважал искусство. А Кулик всегда ходил с бандурой и пел не про божественное. Он уважал в Кулике внешнее приличие художника. Сам же батько хотя и имел вид переодетого в плохую одежду артиста императорских театров, петь не умел. Редко иногда, напившись с соседом и другом своим Николаем Тройгу-

бенко, пробовали они вдвоем петь единую свою бурлацкую песню, вспоминая, молодые свои бурлацкие годы на Дону, да в Каховке, да в каховских степях запорожских:

Чувалы тяжелы, да плечушки болят.
Эх! Да лучше б я нанялся судном бортижать,
Лучше б я нанялся... эх! да судном бортижать,
Ой! Да за рюмочку водки!.. И-и!..

Дальше песня не шла. Они тянули ее, как тяжелую баржу против течения. Но пение расплывалось и утихало от нестройности певческого лада. Тогда певцы переставали дирижировать друг другу руками и нехотя умолкали, недоумевая и грустно удивляясь своему неумению, и потом, выпивая молча, что-то там нукали, тяжело вздыхая: «Ой, ой, ой, ну!..»

Итак, на чем это мы остановились? На слепцах. Да.

Кричит в луже дед — коваль Захарко. Мина хочет деда проколоть рогами. Голуби в небе. Из стрех вода каплет. Про адские муки распевают слепцы. Пират беснуется. На навозной куче петух куру топчет. Воробьи на клуне. Я на лозе. Я колышусь на мокрой лозе и кашляю громко и смеюсь счастливым: я чую весну. И так мне приятно, вокруг так все весело, и пахнет навозом, пахнет мокрым снегом, мокрой лозою.

— Та-ту-у! Бычок деда топчет!

— Где?

— У калю-жи-и! — кричим мы с петухом.

Жили мы в полной гармонии с силами природы. Зимой мерзли, летом жарились на солнце, осенью месили грязь, а весной нас заливало водой. А кто этого не знает, тот не знает радости и полноты жизни.

Весна плыла к нам обычно с Десны. Тогда никто еще не слышал и ничего не знал о преобразовании природы. И вода тогда текла куда и как попало. Десна разливалась так пышно,

что в воде потопали не только леса и сенокосы, целые села тогда потопали, крича о спасении. И тут начиналась наша слава.

Как мы с батюшкой и дедом спасали людей, коров и коней, про это можно писать целую книгу. Это был мой дошкольный героизм, за который меня теперь, наверно, послали бы в Артек. Тогда Артеков мы тоже не знали, давно это было. Забыл, в каком году, весной, накануне пасхи, разлив случился такой, какого никто — ни дед наш, ни дедова баба — не знали.

Вода прибывала с незиданной силой. В один день затопило леса, сенокосы, огороды. Стало темнеть. Разыгралась буря. Равом ревело все над Десною в ту ночь. Звонили колокола. В крошечной тьме далеко где-то там и сям кричали люди, жалобно лаяли псы, и шумела, плещась, непогода. Никто не спал. А наутро все улицы были под водой, она еще прибывает. Что делать?

Тогда полицейский исправник посылает к нашему батюшке старшего полицейского Макара.

— Спасай людей на Загребелье: потопают, слышал? — приказывает он батюшке хриплым голосом. — У тебя челн на всю губернию, а сам ты мореплаватель.

Услышав о такой беде, мать сразу в слезы:

— Позвольте! Так пасха же святая? !..

А батюшка выругался, чтоб мать замолчала, и говорит Макару:

— Ой, рад бы я людей спасать, боюсь греха. Как их спасешь, не разговевшись. Должен я съесть кусок пасхи, и выпить тоже надо по закону. Два месяца не пил. Не могу я праздника не уважить.

— Сядешь в карцер, — сказал Макар и понюхал у печки жареного поросенка. — Вместо грамоты за спасение человека и скотины будешь бить клопов в кутузке.

— Добре! — сдался батько и махнул рукой. — Будьте вы прокляты, душегубы! Еду!

Мать, всегда казавшаяся нам перед пасхой слегка невменяемой, крикнула в горестном отчаянии:

— Ну куда ты поедешь?! Пасха!

— Давай несвяченную. Грешить так грешить!.. Садись, Макар! Христос воскрес! Наливай вторую! Свесною вас, с вербою, с водою, с бедою!

Так, начав разговляться в субботу, постепенно послули мы, проспали службу божью и только наутро с большими трудностями стали подплывать к затопленному селу Загребелью.

Весь загребельский приход сидел на крышах затопленных хат с несвяченными пасхами. Выходило солнце. Картина была необыкновенная, словно сон или сказка. Освещенный солнцем, перед нами раскрылся совсем иной мир. Все было иным, прекрасным, могучим, веселым. Вода, тучи — все плыло, все безудержно несло вперед, шумело, сверкало на солнце.

Весна красна!.. Мы гребли изо всех сил под руководством нашего батька. Было нам жарко от труда и весело. Батько сидел с веслом на корме веселый и сильный. Он ощущал себя спасителем утопающих, героем-мореплавателем — Васко да Гамой, и хоть жизнь послала ему вместо океана лужу, душа у него была океанская. И может быть, потому, что души у него хватило бы на целый океан, Васко да Гама иногда не выдерживал этой диспропорции и топил свои корабли в шинке. Говорят, пьяному море по колено. Неправда. Только понял я это не скоро. Топил наш батько корабли для того, чтобы хоть иногда в грязном кабаке маленькая лужа его жизни превратилась хоть на час в море бездонное и бескрайнее.

Вода прибывала с удивительной силой. Не успело село оглянуться, как очутилось на острове, и остров стал исчезать под водой, потопать.

— Спасите-е-е!

Быстрина разливалась по улицам, левадам, с пеной, аж шипела перед избами и дверями, под окнами, заливала хлевы, клуни. Потом, поднявшись на полтора аршина почти сразу, ворвалась в хаты через двери и окна.

— Ой, спасите!..

Хаты шатались от бурного течения. Ревел скот в кошарах. Кони коченели по шею в воде. Свиньи потопились. Со стороны соседних задесненских сел неслись потопленные раздутые быки вниз по течению. Вода добралась до церкви, до самых «царских врат». Потонуло все село. Один лишь Ерема Бобырь, наш родич по дедову колену, не пострадал в этой беде. Он знал приметы относительно разных явлений природы и особенно верил в предсказания мышей. О наводнении он узнал наперед, еще зимой. Когда на крещение мыши начали разбегаться из клуни по снегу, наш хитрый дядюшка сразу догадался, что будет весной беда. И как ни смеялись тогда над ним простоватые его соседи, он молча разобрал на сенах стреху, сделал на потолке на крыше кошару, соорудил сходни, наносил полный чердак сена и зерна. И вот, когда село вместо праздничных песнопений в отчаянии взывало о спасении, вся семья Еремы Бобыря праздновала пасху на чердаке возле яслей в окружении коровы, коней, овец, кур и голубей, совсем как на старой картине, что висела когда-то в церкви.

— Спасите! Хата плывет!.. — кричали внизу.

— Христос воскрес!..

Тут Христу пришлось услышать за наводнение такое, чего не слышал ни один председатель за неблагоприятные дела. Да еще кто-то пустил клевету, будто попадья ела в великий пост скоромное, которое она получала вдоволь из закрытого поповского распределителя. Шуму было много. Впрочем, если вдуматься, это не были антирелигиозные или безбожнические разговоры. Сидя на крышах затопленных хат с не-

свяченными куличами среди затопленного скота, верующие, очевидно, хотели, чтобы бог был немного более внимательным к созданному им миру. Будем говорить, им хотелось от бога, матери божией и всех святых чего-то лучшего, а не таких угнетающих и несвоевременных неприятностей.

— Ну в самом деле, какая это у нечистого пасха, если ее, прости господи, приходится есть несвященную. Весь приход на стрехах, а в хатах сомы плавают.

— Христос воскрес, мокрогузые! — весело крикнул мой батько, когда большой наш челн проплыл поверх тыно́к через двор и стукнулся носом под самую стреху.

— А ну его... — отозвался немолодой уже человек Лев Кияница и подал батьку рюмку водки. — Воистину воскрес! Спасай, Петро, да хоть не смейся. Я вижу, скоро хату понесет... О! Уже воруются...

— Спасите!

— Ой, погибаем, спасите! — закричали бабы.

— «Воскресения день просвятим, людие! Пасха, господня пасха от смерти до жизни и от земли к небеси...»

— Спасите! Потопаем!

Скоро из-за хаты показалась на улице небольшая лодка, а в лодке певцы — отец Кирилл, дьяк Яким и кормчий с веслом, пономарь Лука. Духовные особы плавали давно уже по селу между хатами и святили пасхи, поддерживая морально-религиозный дух прихожан.

— Давай сюда, батюшка! Дети плачут.

— Потерпите, православные, — зывал отец Кирилл. — Преблагий создатель посылает нам знамение в водах своих, как благое предвозвестие урожая злаков и трав... Куда правьшь, ирод! К хате, к хате правь! Ой, упаду!..

Пономарь Лука причаливал таким образом к хате. Служители культа кропили куличи и яйца весеннюю святою водою и так постепенно нахватались на холоде по рюмке, что забыли уж, как и петь.

— Тут, батюшка, не «воскресения день», а «вниз по матушке» запеть бы следует, — пошутил наш батько, улыбаясь.

— Чего смеешься! — рассердился отец Кирилл. Он не любил батька за красоту и неуважительный характер. — И тут ты против бога, нечестивец! Безбожник лукавый!

— Батюшка, и вы, дядя, и ты, пономарю! Давайте относительно исповедования веры условимся сразу: я не против бога, — весело сказал мой батько, притягивая к лодке на аркане наполовину утопленную телку. — Хватай ее за рога, Сашко! Держи, не бойся! Я подведу аркан под череву. Хватай, хватай ее! Так. Давай! Ну! Р-раз! Ну, взяли! Вот и хорошо!.. Не против бога я, духовные люди, не против пасхи и даже не против великого поста. Не против вола его и всякого скота его... И если я порой гневлю его всесильное, всеблагое, всевидящее око, так это совсем не потому, что я в него не верю или верю в какого-либо иного бога...

— Вот будешь ты в пекле гореть за такие слова! — заступился за господа бога Яким.

— Ничего, — сказал батько и привязал спасенную телку, накрыв ей глаза мешком. — Раз уж я грешен, то где мне и жариться, как не там, где бы сказали. Конечно, богу с неба виднее, чем нам, что и к чему, какой огонь или воду пустить на нашего брата, или саранчу, или мышей там, суховой, или лихое начальство, или войну. Но с другой же стороны, я тоже, как божье создание, имею свой интерес и рассудительность, хотя и мелкую, зато не злую и не дурную как будто. В самом деле, почему я должен хвалить бога, и особенно на пасху, за такой разлив? Мне неизвестны божеские планы касательно такой чрезмерной щедрости на воду. Не вижу я добра в этой воде.

— Пути господни неисповедимы, — строго промолвил отец Кирилл.

— Конечно, — согласился батько и по-хозяйски оглянул разлив. — В такой пропорции воды должен быть, очевидно,

великий божественный смысл, ну только я про себя знаю одно: штаны у меня мокрые и чуб не высыхает.

— Замолчи, нечестивец! — гневно крикнул отец Кирилл.

И тут произошла совершенно неожиданная история. Пошатнувшись в челне, нетрезвый священнослужитель вдруг взмахнул руками и полетел торчком в воду. А челн тогда набок — раз! От дьяка и пономаря только круги пошли по воде. Как же не засмеется утопленное село, как не возрадуются стрехи! Мужчины, бабы, дивчата, деды, дети! Вот народ...

Чтобы так смеяться над пасхою святою, над собою, над всем на свете, и где?... На крышах, в окружении окоченевших коней, коров, что только головы торчат из холодной воды. Нет! Национальный характер загреблян не поднялся до вершин понимания закономерности лиха. Он побудил их на смех над святою даже пасхою.

Глядя на людей, усмехался и мой батько, великий, добрый человек.

— Ну и приход! Каждую весну вот так мокнет тысячу лет. И черт их не потопит и не выгонит отсюда, — вот при рода!

Зацепив отца Кирилла ручкой весла за золотую цепь, батько втянул его, как сома, в свой ковчег к коровам и овцам. Потом стали ловить дьяка и, вытаскивая, так насмеялись, что совершенно упустили из виду пономаря Луку, которого, кажется, чуть ли не съели раки, забыл уже.

Вот такая была вода.

Погибло и исчезло с лица земли это веселое село не от воды, а от огня. И тоже весною через полстолетия. В огне село мое сгорело за помощь партизанам. И свободолюбивые люди, кто не был убит, кидались в воду, объятые пламенем.

Сгорела церковь, переполненная кричащими вдовами. Высокое пламя полыхало в ночи, трещало, взрывалось глухими взрывами, когда громадные огненные пласты соломы, словно

души погибших матерей, разносило ветром в темную пустоту неба. Каратели гонялись по улицам и огородам за женщинами, отнимали детей и бросали в огонь пылающих хат, и матери, чтоб не жить уже, не видеть и не плакать, не проклинать, прыгали сами вслед за детьми и сгорали в пламени страшного фашистского суда.

Повешенные глядели ввысь со своих ужасающих виселиц, раскачиваясь на веревках и отбрасывая на землю и на воду свои движущиеся тени. Все, что не успело убежать в лес, в камыши или в тайные партизанские недра, — все погибло. Не стало прекрасного села. Не стало ни хат, ни садов, ни добрых, веселых людей. Одни только развалины долго белели среди пекла. Горел и я тогда в том огне, погибал всеми смертями человеческими, звериными, растительными — пылал, как дерево или церковь, качался на виселицах, разлетался в прах и дым от катастрофических взрывов. Из мускулов моих и раздробленных костей варили мыло в Западной Европе в середине XX столетия. Кожа моя шла на переплеты и абажуры для ламп, валялась на дорогах войны, грязная, потоптанная, выутюженная тяжелыми танками великой войны человечества.

Случилось так, что я не удержался однажды и, выкрикивая из пламени боевые лозунги и призывы к лютой мести врагам, громко простонал:

— Больно мне, больно!..

— Чего ты крикнул? — упрекнули меня. — Что привело тебя к этому крику в такое великое время — боль, страх?

— Страдание. Я художник, и воображение всегда составляло мою радость и мое проклятие. Оно внезапно изменило мне. При созерцании лиха мне показалось на одно лишь мгновение, что погибает не село мое, а весь народ. Что может быть ужаснее, простите...

С тех пор я начал утешать химерной себя мыслью, что человеческая безупречность является в большей мере делом

удачи и счастья, чем результатом обычных добродетелей. Я был, конечно, неправ. Никогда не надо забывать о своем назначении и помнить всегда, что народ избирает своих художников для того главным образом, чтобы показывать миру, что жизнь прекрасна, что сама по себе она величайшее благо и счастье. И кажется порой удивительным и жалким, что не хватает у нас ясности духа проникнуться ежедневным ощущением счастья жизни, изменчивого в постоянном чередовании драм и радостей, и поэтому так много красоты бесследно проходит мимо наших очей...

Но сядем еще раз в вербовые челны, прошу вас. Возьмем весла ясеновые и вернемся на Десну, на веселые воды, где спасали мы с батьком людей и коней.

Долго стояла вода в ту весну. Еще в начале лета ее было много по левадам и долинам, поэтому и сенокос в то лето начался поздно.

Собирались мы на косовицу всегда долго. Уже, бывало, солнце зайдет, а мы все собираемся. Много шуму, беспокойства, мать упрекает кого-то, потом, увидя меня, как заголосит:

— Уже на возу? Ой!.. Малого хоть бы не брали. Комары съедят!

— Не съедят, целый будет, — сердится батько.

— Так утонет в Десне. Вот чтоб я пропала, утонет!

— Не утону, мамо.

— Разбойник! Упадешь там с крутизны в пропасть! Ой, горе мне!

— Ну, мамо, чего я падаль? Ну довольно. — Я почти плачу.

— Так косой зарежешься. Говори, будешь прыгать между косами?

— Не буду. Ей-богу, не буду!

— Врешь! Сашечка, останься дома, — умоляет меня мать почти со слезами. — Там же так страшно в кустах...

— Не страшно, мамо.

— Там же ямы в озерах.

— Я не полезу в яму.

— Да гадюки там в лесу. Ой!

— Ну, мамо, довольно... Ах!

— Не едь, голубчик, сыночек мой!.. Не пускайте его!

К моему счастью, на просьбы матери никто не обращает внимания. Батько в последний раз оглядывает воз.

Все ли взяли, что надо? Все взяли: картошку, лук, огурцы, хлеб, котелок, деревянную миску, бредни, рядна, грабли, косы, молоток, брусья, — все уже в телеге.

И вот открываются ворота, мать крестится и что-то приговаривает, кони двинулись — мы едем.

Я не оглядываюсь. У хаты стоит мать-зозуля, вещает мне разлуку. Долго, долго, не один десяток лет будет провожать она меня, глядя в слезах на дорогу. Долго будет крестить мой след и стоять с молитвами на зорях вечерних и утренних, чтоб не взяли меня ни пуля, ни сабля, ни наговор лихой. Долго буду рваться я в дорогу, спеша в тревожную даль. Прощание перейдет когда-то в мои картины, разлука совет себе гнездо в моем сердце. Все будут покидать кого-то и спешить навстречу неизвестному, и кому-то будет жаль. Только я еще ничего не знаю об этом.

Я лежу на возу. Вокруг, спинами ко мне, дед и батько с косарями. Меня зовут в царство трав, речек и таинственных озер. Воз наш весь из дерева: дед и прадед были чумаками, а чумаки не любили железа, потому что оно, говорили, притягивает гром.

До Десны верст пять очень сложной дороги. Проехать надо две громадные невысыхающие лужи, два моста, потом снова одну лужу, потом два хутора с собаками и село Малое Устье по узеньким извилистым улочкам. Дальше надо ехать вдоль речки крутым берегом и бояться, чтоб не опрокинуться в воду. Потом надо брать круто вправо и вниз и с разгону через речку вброд, дальше в гору и с горы и снова

над рекою мимо осин и дубов, и там уже над самою Десною мое царство.

По дороге косари говорили о разном. Слезали с воза перед лужами и на подъеме в гору. Потом садились, и я снова видел вокруг себя вверху их исполинские спины, а над спинами и косами, которые они держали в руках, как древние воины оружие, в высоком темном небе светили мне зори и молодой месяц.

Пахнет огурцами, старым бреднем, хлебом, батьком и косарями, пахнет болотом и травами, где-то перекликаются, сейчас слышу, коростели и перепелки. Чумацкий воз тихо скрипит подо мною. А в темно-синем небе «чумацкий шлях» — Млечный Путь — показывает дорогу. Гляжу я на мое небо и поворачиваюсь вместе с возом и косарями вправо и влево, и звездный мир поворачивается рядом с нами, и я незаметно уношусь в сон счастливый.



Просыпаюсь я на берегу Десны под дубом. Солнце высоко, косари далеко. Косы звенят, кони пасутся. Пахнет вялой травой и цветами. А на Десне красота! Лозы, пляж, обрывистый берег, лес — все блестит и сияет. Прыгаю я с крутизны к самой Десне, моюсь, пью воду. Вода ласковая, сладкая. Пью еще раз, войдя по колени в реку и вытянувши шею, как лошак, потом прыгаю на обрыв и айда по сенокосу. И уже я не хожу, а только бегаю — летаю, едва касаясь луга. Вбегаю в лес — грибы, в лозы — ежевика, в кусты — орехи. В озере воду взбаламучу — рыба.

Так я блаженствую два-три дня, пока не скосят всю траву. Ношу дрова к курению, развожу огонь, чищу картошку, ягоды собираю косарям для водки.

После покоса начинаем грести сено гуртом, и вот понемногу меняется наш чарующий мир: батько и дедов брат Самойло становятся почему-то молчаливыми и встревоженными,

каксе-то подозрение появляется в их взглядах, недовольство: они начинают делить сено.

Луг у нас был гуртовой. Его никто не мог поделить. Каждый боялся, что ему достанется та часть на изгибе Десны, которую ежегодно режет безжалостно весенняя вода. Поэтому косили и сгребали сено в копицы сообща. Потом делили, и уже только после дележа каждый стягивал их в стога к своему куреню.

И так почему-то случалось, что при разделе сена ни один почти покос не кончался миром. Всегда почему-то казалось, что кто-то кого-то обманул на одну копну, и тогда, слово за слово, сердца переполнялись гневом, и великие батки наши начинали ругаться, кричать, а потом драться, прости им, господи, и вечная память, над зачарованной речкою Десною!

Они бились кольями, граблями, вилами, держа их в обеих руках, как древние воины. Иногда они гнались один за другим с топорами, крича так громко и страшно, что эхо шло по Десне над лесами и тихими озерами. Тогда мы, дети, тоже начинали ненавидеть одни других, то есть мы с братом — Самойловых хлопцев. Казалось, мы готовы уже были тоже броситься в битву, но боялись: для полноты ненависти у нас еще не хватало лет и нужды. Кроме того, нам очень не хотелось терять рыбацкое товарищество. Мы отворачивались и не глядели на малых своих врагов.

Одни только кони не принимали участия в войне. Они паслись все вместе, одинаково худые и мозолистые, с крупными язвами на потертых спинах, и, помахивая головами, спокойно смотрели на нас, отгоняя дурных своих оводов и слепней.

В этих горячих битвах особенной отвагой и храбростью отличался наш дед. Прошло уже полстолетия, как его не стало, но, сколько бы я ни жил, я никогда не забуду воинственной страсти, таившейся в доброй дедовой груди. Он

был способен к такому высокому накалу гнева, что ему мог бы позавидовать самый большой в мире артист или генерал.

Во время боя он весь пылал. Его высокая грудь ходила тогда ходуном. Дудочки свистели как попало, и хрипели, и курлыкали в его груди, но их всех перекрывал тогда его отчаянный боевой клич: «Сибирь нашего царя!»

С этим могучим лозунгом он бросался в атаку, как настоящий атаман своего сенокоса, пока грыжа не сваливала его под копну, где он тогда катался на спине, задрав ноги и загоняя ее назад, как злого духа.

Справившись кое-как со злым духом, дед снова хватал вилы или топор и стремглав бросался в атаку. Тогда младший его брат, захватчик Самойло, не выдерживал нападения и бросался бежать под дубы. Они бегали, крича, меж дубами, только не мог уже Самойло убежать от деда. Уже споткнулся он, уже начал кричать: «Ай, спасите!» — уже замахнулся дед на Самойла топором! Тогда я не выдерживал и закрывал глаза, а они рубили один другого, как дрова. Кровь лилась из них ручьями: они отрубали друг другу головы, руки, врубались в распаленные груди, и кровь, говорю, лилась с них ведрами. Они то разбегались, то бежали один против другого в атаку с длинными деревянными вилами, крича:

— Убью!

— Заколю!

— Ой, спасите!

— Ага-а!

Разъяренный Самойло бросался на деда и прокалывал его насквозь громадными деревянными вилами и притискивал к земле, словно Георгий Победоносец змия. Дед так страшно кричал от боли, что листья на дубах шелестели и эхо разносилось такое, что жабы прыгали в озерах и ворона, о которой разговор будет дальше, поднималась над лесом. Однако дед успевал, изловчившись, так треснуть снизу Самойла топором

по лысине, что голова у него разваливалась надвое, как арбуз, и тогда Самойло... Такие-то дела.

Это страшное побоище заканчивалось обычно под вечер, и всегда к тому же счастливо. Все оказывались целы и живы, только долго и тяжело дышали от внутреннего огня и перепуга и расходились по куреням, молча и грозно оглядываясь.

Пламенный дед долго не мог остынуть. Он был страстный воин и выпивал обычно после боя добрый кувшин холодной воды, не забывая перекрестить воду перед тем, как пить.

— Давайте уж полудновать, что ли.

— Какой там полудновать, ужинать пора, — говорил батюшко, оглядывая с тяжелой ненавистью вражеский курень.

После ужина сразу ложились спать. Иногда я засыпал еще до ужина, глядя на звезды, или на Десну, или на огонь, где варилась каша. Тогда батюшко или дед долго будили меня ужинать. Но уже невозможно было мне раскрыть глаза, и я падал у них из рук в сон, как лень в прорубь, только меня и видели.

Дед любил спать под дубом. Перед тем как заснуть, он долго и как-то мерно позевывал, как бы прощая миру все его несовершенства, и рассказывал косарям про молодые свои лета, про дороги от Черного моря, Кубани и Молдавии до самой Москвы, про то, как все когда-то было не так. Все было лучше. Реки и озера были глубже, рыба крупнее и вкуснее. А уж грибов да ягоды в лесах — не переносить, да и леса были гуще, а травы — аж не пролезть, разве теперь травы?

— Да, что и говорить, — вздыхал под кустом косарь Тройгубенко. — Все мельчает.

— Э-э! — не унимался дед под кустом. — То ж были когда-то росы, да воды, да болота — долго стояли. Но теперь уж скоро, видать, все повысохнет и сведется ни на что.

— Да. Уж теперь, как говорится, к тому оно, очевидно, все идет, — соглашался, зевая сквозь сон, Тройгубенко.

— А комаров! — увлекался воспоминаниями дед. — Дышать, бывало, нечем, поверите, да здоровые, ну как медведи!

А теперь разве это комары? Так, как будто бы их и нет совсем... Или деркачи... Тоже было, как начнут тебя дыркать всю ночь, — спать невозможно, чтоб меня господь покарал. А сейчас? Где и нигде тебе дыркнет. О, слышите? Очевидно, уже и они переводятся...

Действительно, два коростеля, которые начали перекликаться в траве над Десною, вдруг притихли, словно чувствуя, что речь идет про их долю.

Я слышал эти разговоры под дубами, и так мне почему-то становилось тоскливо и так жалко, что мир обеднеет, пока я вырасту, и не будет уже ни сенокоса, ни рыбы.

— Кто это тебе сказал? — спросил меня батько, когда я прилел к нему и начал всхлипывать.

— Дед.

— Не слушай деда, сынок. Дед старый, разве он что-нибудь понимает? Старые люди глупые. И дед наш глупый. Разве ж разумный? Ему бы только есть да глупости всякие говорить. Недаром присказка говорит: «Голова сивие, чоловик дурние».

— А Десна не высохнет, тату?

— Да не высохнет, целая будет. Спи уж, довольно.

— Так рыбу выловят.

— Не выловят. Теперь, сынку, рыба разумная. Раньше люди были простоватые и рыба такая же, а теперь люди победнели, поумнели, то и рыба стала хоть и мелкая, но разумная и хитрая, страх. Кто там теперь ее поймает! Спи.

Я прислушиваюсь. Что-то заскрипело вдали и тихо плеснуло на Десне. Смотрю — огонек: плоты подплывают. Слышны людские голоса. Я тогда снова к батьку:

— Тату!

— Чего, сынку?

— Что там за люди плывут?

— То издалёка. Орловские. Русские люди из России плывут.

49 — А мы кто? Мы разве, тату, не русские?

— Нет... мы не русские.

— А какие мы, тату? Кто мы?

— А кто там нас знает, — как-то грустно говорит мне батяко, подумав, — простые мы люди, сынку... Мы те, что хлеб обрабатывают. Сказать бы, мужики мы... Да... Ой-ой-ой... мужики — и квит. Когда-то казаки, говорят, были, а теперь одно только звание осталось.

— А дед говорит, что когда-то комары были большие.

— Комары? Разве что комары. В комарах он понимает много. Всю жизнь чумаковал по степям, да кормил комаров, да деньги потом пропивал в шинках... Страшно вспомнить, что было.

— А что было? — послышался вдруг виноватый голос деду.

— А что же, не было, скажете? Молчали бы уж! — грустно как-то ответил в темноту батяко.

Они еще о чем-то говорили, но я не все понимал. Чувствовал только, засыпая, что не все было хорошо в далеком прошлом на белом свете. Было лиха много и скорби.

Стало тихо. Храпели косари под дубами. Дед долго еще и протяжно зевал, потом перекрестил рот, корень дуба, Десну и, обложившись крестами, заснул.

Начали перекидываться коростели, перепелы, бугай, еще какие-то птицы. Плеснулась крупная рыба посреди Десны, так я взял себе да и заснул.

Погодою у нас на сенокосе что-то, говорили, лет полтора-ста заведовала ворона. Это была, так сказать, наша фамильная ворона. Она восседала у нашего куреня на высоком осокоре и оттуда видела всех нас и все, что мы пили, ели, какую рыбу ловили или где зарезали деркача или перепелку, видела всех пташек в нашем лесу, все слышала и, самое главное, предвещала погоду. Она безошибочно угадывала приближение дождя или грома еще при совершенно безоблачном, ясном небе, и только после того, как вдруг она крикнет трижды специальным голосом, дед начинал ни с того ни с сего кашлять,

зевать, и мы тогда вскорости бросали грабли, вилы и, тоже зевая, падали, сонные, под дубы. Один только дядько Самойло не поддавался вороньим чарам. Наоборот, он трясся весь от гнева.

Мой дядько Самойло не был ни профессором, ни лекарем, ни инженером. Не был он, как уже можно догадаться по одному его имени и по тому, что здесь писалось, ни судьей, ни исправником, ни попом. Он не годился на все эти великие посты. Он даже не был добрым хлебобором. Он был плохой хлебобор. Его умственных способностей не хватало на эту сложную и мудрую профессию.

Но, как и всякий почти человек, он имел свой талант и нашел себя в нем. Он был косарем. Он был такой великий косарь, что люди забывали даже его фамилию и называли его Самойло Косарь, а то и просто Косарь.

Орудовал он косой, как добрый художник кистью — легко и быстро. Если б его пустить с косою прямо, он обкосил бы весь земной шар — были бы только трава, да хлеб, да каша.

Вне своего таланта он, как это и водится среди узких специалистов, был человеком в общем неинтересным и даже беспомощным. Как он ни проклинал ворону, как ни угрожал ей, а не проходило и полчаса, как из-за леса появлялась темно-синяя туча и начинал накрапывать дождь.

Эта ворона знала каждого из нас как облупленного, видела, кто чем дышит и чего хочет. Раз батько, рассердившись на дождь, который она накаркала, попросил Тихона Бобыря, единственного охотника на всю округу, застрелить ее из шомпольного ружья. И что вы думаете? Не успел еще батько закрыть рот, как она поднялась со своего осокоря и перелетела за Десну на высокий дуб. И хотя Тихон категорически отказался стрелять не дозволенную законом божьим птицу, она вернулась с дуба только вечером и накаркала такого дождя и грома, что погноила все сено.

Тут читатель может сказать, что такая ворона нетипична и что дождь мог погноить сено без ее карканья и без дедова кашля, на основе чисто научного метеорологического прогноза. Я скажу — да, возможно. Но я не собирался писать о типичном. Я описываю только то, что было когда-то на Десне, как раз там, где в нее впадает Сейм. Кстати, раз уж разговор зашел о погоде и охотнике, который отказался убивать вышеописанную ворону, придется описать и самого охотника. Только для полноты картины попробуем намалевать его неповторимый образ не обычным способом, а, так сказать, с точки зрения диких уток, водившихся всегда в нашем озере. Сделать это придется не так для красоты стиля, как для большей правды, потому что он же убивал уток, а не они его.

— О! Уже ковыляет... — кричат, бывало, старая утка своим утятам. — Киш в осоку! Ишь шатается, добра бы ему не было!

Утята мгновенно прятались. Мать-утка тоже незаметно исчезала в воду. На озере наступала тишина. К берегу приближался Тихон с пятнистым охотничьим псом.

Когда же, играя среди кувшинок, утята становились непослушными, встревоженная мать, бывало, места себе не находит.

— А, спасите! Уже целится! Видите? Сейчас трахнет так, что перья с кого-то полетят.

Тихон действительно уже целился с берега.

— Ну что ж теперь будет?! О, спасите! Пропали мы... Тихо, говорю, не плещите, чтоб вы подошли, — крикала утка в отчаянии.

Утята притихают, прячутся. Нигде не шелохнет.

Вот теперь, пока не грянул выстрел, мы имеем время рассказать о Тихоне со своей, так сказать, людской стороны.

Тихон был человек бедный и поэтому, чтоб не тратить лишних зарядов, должен был сделаться снайпером. Впрочем, убивать диких уток ему приходилось не часто. Почему? Вот по-

чему! У Тихона одна нога не согласовалась с другой. Она была значительно короче, тоньше и не разгибалась даже во сне. В результате такой диалектики природы все утки, нырки, курочки, чайки — весь наш птичий мир узнавал его еще издали по походке и прятался в осотняк или в воду под широкие листья кувшинок. Таким образом, даже хромая нога и та порой может послужить гармонии природы, ее равновесию. Кроме того, гармонии природы в великой мере благоприятствовало Тихоново ружье. Оно было такое старинное, что его курок охотник предпочитал всегда носить в кармане и надевать его, куда надо, обычно перед самым выстрелом. Тихон любил целиться долго и старательно.

— Ну стреляйте уж, дядя, — шепчу я Тихону, а сердце замирает от страха: вот сейчас тарахнет. — Стреляйте, вон уж наплывают... Ужели не видите? Ой, смотрите! Ну, дядя!..

Я быстро набираю воздуха и перестаю дышать. От долгого ожидания выстрела становлюсь весь синим. Однако выстрела не последовало. В самый решающий момент вдруг выяснилось отсутствие курка. Где курок? Очевидно, отвалился и потерялся в траве. Долго мы шарили вокруг в траве и под кустами, уж солнце начало заходить — нет курка.

Ой, какой я несчастный. А тут утки разлетелись и туда и сюда. Старая тоже заметила, что у нас дела плохи, и выплыла себе с целым выводком.

— Стреляйте, чего послули! — кричит издалека наш батько.

— Нет, дядько Петро, сегодня не выйдет. Курок я, кажется, дома в жилете забыл, — грустно ответил Тихон, а собака его, очевидно поняв, в чем дело, начала с досады подскуливать.

Устыдившись, Тихон заковылял в сторону села.

Я чуть не заплакал. Собака тоже. Потом она повертелась немного, посмотрела с тоскою на уток и нехотя побрела вон.

Утки радовались, кричали, плескались. Уже ночь наступила, а они все плещутся.

Чтоб вы знали, ни на какую другую птицу, кроме уток, у Тихона не поднималась рука. И вполне понятно: всякую мелкую птицу, вроде коростеля, перепелок, куликов, курочек, можно выкосить косой в траве, если подвернутся, или поймать, а про разных там вальдшнепов, кроншнепов, дупелей никто даже не думал, что они существуют на свете. Летает что-то на опушках леса, как тень, а что оно, кто его знает!

Диких зверей тоже было мало: еж, заяц, хорек. Волки совсем перевелись, и даже само слово «волк» употреблялось вроде дедова ругательства: «А волк бы тебя съел!»

Водились лвы, но тоже очень редко. Один лишь раз по берегу Десны прошел было лев, да и то, кому ни рассказывают, никто не верит. А мы с отцом поставили переметы в Десне и плывем к курению в душегубке. Вода тихая, небо звездное. И так мне хорошо плыть за водою, так легко, словно я не плыву, а лечу в синем просторе. Смотрю в воду — месяц в воде смеется. Плеснись, рыба, думаю! Плещется. Гляну на небо: звезда, покатись! Катится. Пахнут травы над водою. Я к травам: подайте голос, травы, — кричат перепелки. Смотрю на чарующий, залитый серебряным светом берег: явись мне, лев, на берегу, — появляется лев. Голова громадная, всклокоченная грива и длинный с крупной кистью хвост. Медленно идет звериный царь вдоль пляжа над самою водою.

— Тату, гляньте, лев! — кричу я батьку как очарованный.

— Ну, где там лев! То ведь...

Дальше батько молча начал всматриваться вперед, и, когда душегубка поравнялась со львом, он поднял весло и громко ударил плашмя по воде.

Ой! Лев тогда как прыгнет да как зарычит! Эхо покатилося громом. Из меня вылетает душа. Весь берег, леса, лозы — вся округа переполнилась трепетом. Батько чуть весло не выпустил, и уж на что был храбрый человек, а тоже как-то запечалился вдруг и застыл неподвижно. А душегубку нашу понесло и понесло водой, пока не прибило к крутому берегу. По-

сидели мы у берега молча еще с полчаса, оглянулись — ни пляжа, ни льва.

До самого утра горел у нас огонь на курене над Десною. Мне было страшно и почему-то жаль льва. Мы не знали с отцом, что предпринять, если лев вдруг начнет есть наших коней или деда, спавшего под дубом. Я долго прислушивался, не крикнет ли он еще раз. Не крикнул. Перед сном мне так захотелось развести везде львов и слонов, чтоб было красиво везде и не совсем спокойно. Мне наскучили телята и кони.

На другой день говорили уже, что ненадолго посчастливилось льву освободиться из клетки. Когда случилось крушение поезда под Бахмачем и клетка передвижного зверинца полomалась, выпрыгнул он на волю, глянул вокруг, и так ему, очевидно, стало скучно, так надоели зрители, и укротители, и все на свете, что он махнул на все и подался на Десну найти себе хоть немного покоя. Только не прошел он и тридцати верст, как догнали его, окружили со всех сторон и убили, потому что он ведь был лев. Не мог же он ходить среди телят, коров и коней. Его не запряжешь: какая от него корысть. Если бы еще умел он лаять или блеять — голос не годится. Рывкает так, что лист вянет и травы стелются.

Ну, добре... Что это я пишу? Кажется, не плыл я в душегубке ночью по Десне. Или плыл? Нет. Кажется, не плыл. Плыл батько сам, один, а я лежал на курене под дубом возле деда. Может быть, и так. Но лев-то ведь все же проходил нашим берегом? И где-то возле села Спасского убили его стражники?! Или он убежал? !..

Тут над львом, думаю, пора поставить точку и перейти к описанию домашних животных, потому что чувствуется уже какая-то неуверенность в пере: уже проснулись киноредакторы во мне, и окружает льва их неумолимый кворум. Они живут у меня всюду. Один за левым ухом позади, другой под правую руку, третий за столом, четвертый в постели — для

ночных редакций. Все они исполнены здравого смысла и ненавидят неясности. Их цель — чтобы я писал или так, как все, или чуточку лучше, или чуточку хуже других. Там, где мое сердце холодеет, они подогревают его; где начинаю я пылать в огне своих страстей, они расхолаживают мое воображение — не вышло бы чего!

— Пусть, — говорю, — что-нибудь выйдет. В моем деле надо, чтобы вышло. Умоляю!

— Нет.

— Почему не написать, что, когда я был мальчиком на Десне, мне страстно хотелось, чтобы всюду водились львы и чтобы дикие птицы садились мне на голову и на плечи не только в снах!

— Это неправдоподобно, и потом, это могут не понять.

— Но я же маленький был и не имел еще тогда здравого смысла. Я чувствовал тогда, что, может быть, оно пригодится.

— Для чего?

— Не знаю. Может быть, для счастья.

— Вычеркиваем. Льва ведь можно было и не увидеть, если это вообще не фантазия.

— Ни за что!..

— Спокойно. Льва можно заменить чем-нибудь более созвучным. Можно написать правдиво про коней. Кони ведь были у вас?

— Мне про коней стыдно писать.

— Почему?

— Они были худые и некрасивые.

— Ну, тогда можно их как-то обобщить.

— Их нельзя обобщать. Они были в коросте. Кроме того, наши кони были невеселые.

— Ну и что?

А они действительно у нас были невеселые. Поэтому, перед тем как их обобщать, вспомню я лучше что-либо утешительное, приятное, а дальше, может быть, и к коням перейду.

Проживал у нас долго пес Пират. Это был крупного роста, немолодой уже, солидный и серьезный пес с двумя хвостами и с двумя парами глаз, из которых верхняя пара, если посмотреть поближе, оказывалась парой рыжих пятен на темном лбу.

Как-то раз, затерявшись в Боране на ярмарке, где батько наш продавал деготь, Пират исчез. Пожалели мы его, да на этом и кончилось. Но вот в воскресенье, месяца через полтора, после обеда, когда мы сидели все возле хаты, смотрим — бежит Пират, заморенный, худущий. Увидев издали наш род и нашу хату, он упал на дорогу и полз к нам шагов, может быть, сто, перекидываясь на спину и громко плача от полноты счастья, как блудный сын в священном писании.

«Это я, ваш Пират, узнаете? — лаял он сквозь слезы. — О, как я счастлив! Как тяжело мне было без вас! .. Поверите, мало не подохо от тоски, мало не взбесился, ей-богу!»

Он так растрогал своими слезами нас, что даже батько, который ненавидел откровенность выражения чувств, и тот чуть не всплакнул. Бывает же такое на свете! Простой пес, а так встревожит человека! Мать плакала, приговаривая с непонимой трогательной усмешкой:

— А, чтоб ты подохо! .. Ну вы подумайте! Собака, а такая жалостная. И такое выделявает. Видите, как ползет? Тьфу, где ты у черта взялся?!

Нечего сказать, добрый был пес. Он пользовался у нас всеми благами собачьей жизни не только за то, что был верным сторожем, он был пес работающий. Он любил помогать в хозяйстве, выполняя по собственной инициативе всякую работу: носил из огорода огурцы в зубах и складывал в саду в одну кучу, помогая матери; выпивал лишние куриные яйца. У него подрастал уже сын, тоже Пират, молодой еще, веселый, проворный песик. Он веселил своей артистической натурой нас и всех наших соседей. Он любил играть. Он, так сказать, был собачьим артистом. Играл он с теленком, поросятами, курами,

играл с голубями, с гусями, нашими и чужими. Порою, отдавшись высокому собачьему вдохновению, он доигрывался вдвоем со своим отцом до того, что игра заканчивалась увечьем или смертью их пернатых партнеров, и тогда оба артиста или убегали куда попало, или быстро прятались в табак, чтобы пересидеть там острый период своего шельмования, пока люди не соберут перья или не съедят зажаренную жертву искусства.

Мать уверяла, что, когда мы однажды ели в саду жареную курицу, оба Пирата смотрели на нас из табака и смеялись над нами.

— А, чтоб вы подошли! — крикнет, бывало, вдруг дед страшным голосом, бросая в артистов кость.

Ошельмованные виновники — артисты — бросались тогда молча бежать, ломая табак и накликая на свои головы гневные проклятия бабы.

Приплетется же такое в голову! Не воспоминания, бог знает что! Может быть, перейти все же к коням?

Казалось мне, что кони и коровы что-то знают, какую-то недобрую тайну, только никому не скажут. Я чувствовал их плененную темную душу, особенно вечером, когда все начинало жить по-другому.

Кони водились у нас разные — батько часто их менял на ярмарке. Были хитрые, недобрые кони и несчастливые, обиженные, мужицкие конские души. Были перепуганные, проклятые, встревоженные или заколдованные навеки грешники конячьи. Но все они были отдельные от нас, осужденные безвозвратно. Это было заметно особенно после захода солнца, если долго смотреть на близком расстоянии в темно-сизое конское око.

Один конь у нас назывался Мурай, другой Тягнибеда. Были они уже немолодые, сухорлявые, некрасивые. Не помню, да может быть, и никто не знал и тогда как следует, какая была у них масть. Короста буквально сыпалась с них. Они чесались,

помню, везде о что только можно. И куда, бывало, ни глянешь, всюду на колях, на углах виднелись их следы, словно весь двор был в коросте. Поэтому, очевидно, ни в жизни, ни в литературе я не знаю мальчика, который так бы мечтал о конской красоте, как я, и так бы стыдился некрасивости.

Мурай был стар. Тягнибеда, хотя и моложе, подорван на передние ноги, потому, когда он пасся порою в болоте, ноги у него отнимались, и он падал тогда между кочками в грязь, где и лежал обычно до утра, потому что кони ведь не просят помощи. А утром, проснувшись под свитками, мы вытаскивали его из болота на сухое за хвост, как ихтиозаара. Он позволял это делать и смотрел на нас, малых, с благодарностью и, как нам казалось, любовью. И я любил его больше всех коней за несчастливую долю и за разум. Это был разумный и добрый коняка. Но только абсолютно, то есть не то что ничего героического, или живописного, или такого, что в песнях или колядках про коней поют, — не спрашивайте, не было и в на-меке!

Ах, какие у нас были некрасивые кони! Вспоминаю, и по сей день жалко и стыдно, хоть и прошло уж больше полстолетия. Трудно жилось им у нас. Работы много, корм плохой, сбруя старая, никакого ухода. Люто порою кричал на них наш батя, и проклинал, и бил чем попало, тяжело при этом дыша и бледнея от гнева.

Как-то раз над Десною подслушал я ночью, лежа на сене и глядя на звезды, как после дневной тяжелой работы кони разговаривали между собой. Разговор шел про нас, как раз про батя.

— И чего он такой лихой, ты не знаешь?

— Не знаю. Я еле стою на ногах, так натягался.

— А я что знаю? Тоже ничего. Знаю хомут, оглоблю, кнут и еще его крики.

— Знаю и я его крик. Наслушался, довольно. Так смутно и печально мне.

— Мне тоже. Когда-то бегал я над облаками, — сказал Тягнибеда и, разогнув шею, посмотрел в звездную даль за Десну.

— Тысячи лет когда-то, еще до телег и пахоты, на моей спине ездили пророки. Были тогда у меня еще крылья, а пращур мой был конский царь или бог.

— Были крылья и у меня. Да нет ни крыльев уже, ни красоты, только ссадины на спине. Поверишь, ну нет и дня, чтоб не бил меня! А толк какой: падаю с ног!

— Это правда. Только не нас он бьет.

— Говори! Не нас! Болит же у нас.

— Бьет он недолю свою. Худые мы, некрасивые, и сил у нас мало. Вот что. А натура у него старинная, героическая, разве ему таких коней надо, как мы? Вчера, когда застрял я с возом в луже, и он стегал меня кнутом, и бил по ногам, и кричал, раскрывши рот, как лев, заметил я в его глазах страдание, да такое жгучее, такое бездонное — куда там наше! И я подумал: «И тебе больно, проклятый бедный человек!»

— Тише! — сказал Мурай, заметив меня на сене. — Давай пастись молча. Вон его хлопец мечтает.

С тех пор я ни разу не ударил коня.



— Пустите колядовать! — слышу девичий голос со двора.

Я глянь в окно: то неполный месяц с зоряного неба засветил мне в хату перед Новым годом. В маленьком окошке, как раз против печки, розовеет на морозе девичье лицо.

— Пустите? колядовать? — слышу я еще раз.

— Колядуйте! — громко отвечает мать.

— Кому?

— Сашку!

«Молодец Сашечка да по торгу ходив, святой вечер», — запели сразу четыре дивчины, и кто его знает, то ли от мороза, то ли девушки такие и слова колядки в этот зимний

вечер, только песня зазвенела так чисто и громко и весь мир стал сразу таким удивительным, что у меня, малого, аж дух захватило!

Притулившись на скамье у окна под рушниками, чтоб не заметили дивчата, я весь превращаюсь в слух. И они тогда долго и плавно, словно летя в безграничную даль времени, на семьсот и больше, может быть, лет, вещают мне в песнях судьбу. И вот, вслушиваясь в чарующие слова, я начинаю видеть: великий молодец, хожу я по торгу с конем среди продавцов и купцов, и должен я как будто бы продать коня, поэтому что слова мои поются так:

Ой, коню, коню, порадо моя,
Ой, порадь ты мене, да продам я тебе
За малую цину, за сто червонцев.

А конь, весь в яблоках, шея крута, красная лента в гриве, отвечает мне на ухо: «Не продаси мене, спогадай себе». Я чувствую возле уха его нежные, мягкие губы, а слова коня у девчешек такие, что век буду помнить:

Ой, чи ты не забув, як у вийску був,
Да як мы с тобою билися з ордою.
Да як за нами турки влягали.
Ой, да не сами турки, пополам з татарами,
Да догнали ж бо нас на тихий Дунай,
До крутого берега, — святий вечер...

Что мне делать? Уже кони ржут на Дунае, и вражеские стрелы поют мне недолю. Тогда, раскрыв широко очи, я вижу, будто какая-то сила поднимает меня со скамьи и выносит из хаты на коня, и тут конь мой

...скочив, да Дунай перескочив,
Дунай перескочив, копыта не вмочив,
А ни сабли конца, ни мене молодца,—
Святий вечер...

Я возвращаюсь из Дуная в хату, оглядываюсь: мать тоже поет, качая люльку. На ее лице я вижу тоже что-то не будничное, словно сама она тоже летает где-то в просторах своего сердца, как и те девушки, за окном на морозе под звездным небом. Как хорошо! А Дунай широкий да глубокий. Вода холодная несется, плещется. А на той стороне турки и татары темнеют от злобы, что так много я их потоптал коном.

Потом пели уже другие девушки. Чего только я не слышал про себя! Там уж я и собирал такое войско, что земле было тяжело, и выбивал ворота в чужие города, и пахал поле сизыми орлами, и засеивал поле мелким жемчугом, и мостил мосты все тесовые, и расстилал ковры все шелковые, и сватал панночку из-за Дуная-реки, красную панночку, королеву дочку. И лесами ехал — леса шумели, мостами ехал — мосты звенели, городами ехал — люди встречали, люди встречали, поздравляли, — святой вечер...

Потом меня переносили, совсем уже сонного, на печку. Там и засыпал я во ржи среди песен, крепко обняв за шею коня в яблоках. Там я слово давал не продавать его ни за какую цену, ни за сокровища. Так и не продал я его по сей день...

Вот какие у нас были кони.

После косовицы и жнив повели меня в школу, не особенно, впрочем, удачно.

Учитель Леонтий Сазонович Апанасенко, старый уже, нервный и сердитый, очевидно, человек, носил золотые пуговицы и кокарду. Он казался мне великим паном, не меньшим, чем исправник или судья. Росту он тоже был значительно выше нашего батька, что также придавало ему грозный вид.

— Это твой? — спросил он сердито, глянув на меня из-под очков усталыми глазами.

— Так, извините, это мой хлопчик, или, сказать бы, ребя-теночек меньшенький, — ответил батько тихим, чужим голосом, смиренным, как в церкви.

— А как зовут?

— Сашко.

— Тебя не спрашивают, пускай сам ответит, — сказал тоном следователя учитель и снова пронзил меня своим серым взглядом.

Я молчал. Даже батько и тот немного испугался.

— Ну?

Я вцепился одной рукой в отцовские штаны, другой за шапку и хотел было сказать свое имя, но голоса не получилось. Рот опустел и высох.

— Как?

— Сашко, — прошелестел я.

— Александр! — громко сказал учитель и с неудовольствием глянул на батька. Потом он снова взглянул на меня и задал самый бессмысленный вопрос, какой только мог придумать в то время народный учитель: — А как зовут твоего отца?

— Батько.

— Знаю, что батько. Зовут как?

Мы с батьком глянули один на другого и сразу догадались, что наше дело проиграно. Впрочем, у батька была, очевидно, крошечка надежды.

— Ну скажи, сынок, как меня зовут. Говори, не бойся. Ну?

Я отчаянно закрутил головой и так круто повернулся на пятке, что тут бы и упал, если б не держался за отцовскую штанину. Какая-то тоска подступила к моему горлу, так мне стало плохо.

— Ну скажи, не крутись, чего молчишь? Ну?

Батько пытался подсказать мне свое имя. Да, видно, тоже постыдился и деликатно умолк.

— Не скажет, извините. Мал еще, стыдится.

— Не развит, — промолвил неразумный учитель.

Мы с батьком пошли вон.

Было это давно, в далекое старое время, и все утекло безвозвратно, как вода в потоке меж берегами времени. Помнится только, что страдания мои были безмерны. Может быть, час или два весь мир казался мне потерянным навеки. Не захотев даже пообедать, вышел я в сад и, остановившись возле пчел, начал что-то делать за ульем. Вдруг подлетает пчела — ой! — и жалит меня в одно место. Спасите! Мгновенно жизнь моя поворачивается на девяносто градусов. Как не закричу я, да как не забегаю, да не затопчу ногами, — вот был страх, вот была боль! Слезы катились из моих глаз как горох. Перепугался Пират и начал лаять, сам не зная на кого, и прыгать высоко на все стороны, пока не вонзилась пчела ему в самый язык. С криком и жалобным лаем бросились мы с Пиратом в любисток, в смородину, в малину, да начало у нас что-то припухать, — великий был страх, пока не принес нам дед гнилых груш и мы не заснули.

На этом пусть кончается начальная глава моей прекрасной жизни.

Не слишком ли я славословил старых своих коней, и село, и свою старуху хату? Не ошибаюсь ли я в воспоминаниях и чувствованиях своих?

Нет. Я не приверженец ни старого села, ни старых людей, ни старины в целом. Я сын своего века и весь принадлежу своим современникам. Если же я оглядываюсь порой на криницу, из которой пил когда-то я воду, и на мою приветливую старую хату и посылаю им в далекое прошлое свое благословение, я совершаю ту лишь ошибку, какую совершают и будут совершать, сколько и мир будет стоять, души художников всех эпох и народов, вспоминая незабываемые чары своего детства. Мир раскрывается перед ясными глазами первых лет познания, все впечатления бытия сливаются в бессмертную гармонию, человеческую, драгоценную. Плохо человеку, когда высыхает и слепнет воображение, когда, оглядываясь в сторону самых чистых источников своего отрочества, ничего не

видит он дорогого, небудничного, и ничто не греет его, не будит радости, ни человеческой грусти. Бесцветен этот человек, какую бы высокую должность ни занимал он, и труд его, не согретый теплыми лучами времени, бесцветен.

Настоящее всегда на дороге из прошлого в будущее. Почему же я должен пренебрегать всем прошлым? Не для того же, чтоб научить внуков пренебрегать когда-то дорогим и святым моим настоящим, которое станет для них тоже прошлым когда-то, в великую эпоху коммунизма.

Много было в жизни моих отцов хорошего, но много трудностей и сожалений, много неурядиц, темноты и зла. Невнятные надежды и тщетные ожидания находили себе могилу в водке и несогласии. Но больше всего, что только отпустила им судьба, было работы тяжелой. Все прожили свой век несчастливо, каждый по-своему: и прадед, и дед, и батько с матерью. Как будто бы все были рождены для любви и все имели талант к ней, — очевидно, не нашли друг друга, недоглянули, и гнев и ненависть, которые всегда были не свойственны и не нужны им, все же подкинула им судьба-чаровница, и всю жизнь обманчивые химеры беспрерывно тревожили и тщетно будоражили их. И вся жизнь их была скорбна, как жизнь древних. Они не знали, как изменить ее, и, отдавая преимущество тому, чего не судило им время, не поразовались.

Только было это так давно, что почти все уже растаяло в далеком мареве времени, как сон, и затонуло. Только Десна осталась нетленной в моей памяти. Святая, чистая река моих детских незабываемых лет.

Для меня теперь нет таких рек, как ты была когда-то, Десна! Нет ни тайн на реках, ни покоя. Ясно всюду. Нет ни бога, ни черта, и жаль мне порою, что нет в речках русалок и водяных мельников нет.

Тогда Десна была глубокою и быстрою рекой. Никто почти тогда в ней не купался, и на песках ее не видно было голых. Дивчата не купались даже в праздники, ссорясь снимать

свои сорочки. Мужчинам с давних времен не приличествовало купаться по обычаю. Женщины боялись водою смыть здоровье. Купались только мы — малые дети. Была тогда еще дивною Десна, а я — удивленным маленьким хлопчиком с широко раскрытыми зелеными очами.

Благословенна будь, моя нетронутая девица Десна!

Вспоминая тебя много лет, я всегда становлюсь добрее, чувствую себя богатым и щедрым, — так много дала ты мне подарков на всю жизнь. Счастлив я, что родился на твоём берегу, что пил в незабываемые годы твою мягкую, веселую воду, ходил босиком по твоим нетронутым, чистейшим пляжам, слушал рыбацкие сказки на твоих челнах и сказания старых про глубокую древность, что считал в тебе зори на опрокинутом небе, что и по сей день, глядя порой вниз, не потерял счастья видеть эти зори даже в будничных лужах житейских дорог.

1942—1948

Рассказы



НА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКЕ

Три дня и три ночи сидел Петро Чабан в темной коморе под замком, без пищи и без воды. Сидел и слушал, и казалось ему, что много раз как будто открывали двери и немцы выводили его во двор и после жесточайших пыток бросали мертвого в яму.

В яме уже гнила не одна сотня расстрелянных крестьян и раненых бойцов, что не успели отойти с армией на восток. Яма была недалеко, и Чабан слышал все, что творилось около нее эти три дня.

С каждым выстрелом он падал в эту яму, и каждый раз душа его возносилась из ямы вверх, как огненная птица — орел или голубь, которых видел он когда-то в церкви, золотых, на царских вратах. Птица пролетала над землей и разносила его гнев на все четыре стороны. Она стучалась крыльями

в каждое окно, в каждую убогую дверь, где надежда боролась с отчаянием в скорбных сердцах, где скреблись в двери голод, и рабство, и бесславное вымирание. Потом она подымалась еще выше, так высоко, что у нее начинало звенеть в ушах, и тогда Чабан видел всю как будто землю.

Земля была больна. Она словно влетела в какую-то кровавую туманность и занемогла. Размах смерти был такой исполинский, что Чабану на одно мгновение его собственная смерть и пытки и все, что делали с ним немцы, показалось таким маленьким и незначительным, что он даже улыбнулся и открыл глаза. Кто-то постучал. Приоткрылась дверь. К комору хлынул поток такого свежего, теплого октябрьского воздуха, что у Чабана закружилась голова. Когда его выводили во двор, он споткнулся и чуть было не упал.

— Ты есть командир партизанского отряда, что начал действовать в этом районе?— спросил у него усталый немецкий офицер.— Ты уничтожил двести сорок наших офицеров и солдат?

— Да. Я сын украинского трудового народа, коммунист Петро Чабан, сорока двух лет, командир партизанского отряда. Уничтожение солдат и офицеров — это моя работа, — ответил Чабан и посмотрел вокруг. Как странно изменилось село. Как померкло оно, словно кто-то посыпал его серым пеплом. Слово отравы разлилась по нему и отравила все.

Невдалеке на площади Петро увидел виселицу. На ней висело четверо крестьян, и он сразу узнал их. Висели Ткач Василь, Начипорук Оксентий, Сербин Левко и Куприян Шумило. Пятая петля была свободна. Возле виселицы полукругом стояли крестьяне, преимущественно женщины. Они стояли неподвижно, словно чаши, переполненные горем. Горю было гораздо больше, чем могли вместить в себе чаши. Горе разлилось везде по селу. Никто не плакал, ни одна душа.

— Вот и все, что я решил сказать.

— Хорошо. Еще два коротеньких ответа, и ты свободен, — сказал усталый офицер, кивнув головой в сторону петли. — Итак, где скрываются твои партизаны и где закопано оружие красных?

— Не скажу.

Офицер встал и подошел к Чабану.

— Слушай. Я допускаю, что ты сильный человек. Я вижу в твоих глазах презрение к смерти. Но война есть война. В данной ситуации нет ничего в мире, что дало бы тебе хоть малейшее основание так отвечать. Ты не европеец. Ты меня понимаешь?

— Да.

— Не дразни меня. Скажи и умирай скорее.

— Не скажу.

— Слушай, я не хочу кричать на тебя или бить тебя сейчас, хотя это входит в мои обязанности. Я устал от этого сегодня. Как говорится, всякая работа имеет свою скуку. Я апеллирую к твоему рассудку.

— Петро!!! — раздался вдруг из толпы душераздирающий женский голос.

— Слышишь, даже люди просят, — покривился офицер.

Усмехнулся по-своему и Чабан. Они глядели друг другу в глаза, и каждый понял улыбку другого.

Нет, не просила Левчиха. Чабан сразу узнал ее голос. Она заклинала. В этот отчаянный жалобный крик, в одно слово, в один звук его имени, в этот извечный материнский стон вместились, как в тесную клетку, вся ее женская доля.

«Терпи, не поддавайся. Перенеси все муки, что обрушились на тебя. Прими все страдания, как принимали в старину твои прадеды запорожцы, умирая на острых колах и смеясь врагу в лицо. Будь мужествен, чтоб не пренебрегали живые твоим именем, чтоб прославляли тебя, брата-товарища. Молчи, такая уж несчастливая земля наша».

Чабан не сводил с офицера очей.

— Я буду молчать.

— Я уже вижу, — сказал офицер тихим голосом. — Ну что ж. Тогда до завтра, до утра. Я должен отдохнуть и иметь свежий юмор. А завтра, как говорится в вашей пословице: «Ой, хоть крикни — не докрикнешь, ой, хоть свистни — не до-свистнешь». Я недаром долго изучал твой язык.

— Ну это еще посмотрим, — сказал Чабан.

— Помолчи. Завтра я сам выколю тебе глаза и отрублю руки и ноги. Потом я отрежу тебе язык и вырежу большую звезду на груди.

— А зачем? Зачем вам моя звезда, и язык, и вырванные очи? Зачем они вам? Вам нужна только моя смерть.

Чабан даже подался весь к офицеру. Он пристально вглядывался в серые водянистые глаза офицера, в морщины на лбу и на губах. Он хотел проникнуть в его страшную таинственную душу. Он никогда не думал, что на свете могут быть такие люди.

— Вам же нужна только моя смерть!

— Обыкновенная банальная смерть — это примитив, — сказал офицер и достал из кармана записную книжку. Он любил записывать мысли, казавшиеся ему достойными истории его отечества. — Зачем? — продолжал офицер. — Я романтик войны. Ты этого не понимаешь. Собственно говоря, я сказал это совсем даже не тебе. Я записываю свои мысли вслух... Так... Сегодня кто прошел по Европе, тот кое-что пережил, тот жил, понимаешь, жил!.. — Рука офицера быстро забегала по книге мемуаров. — Если под жизнью, конечно, разуметь фаустовский принцип — хотеть все знать, все пережить, все, что может дать человеческая жизнь, короткая, как мгновение, в понятии великого или отвратительного, как эта яма и эта виселица, доброго или злого, высокого или мизерного... Впрочем, это философия, — закончил писать офицер и взглянул на Чабана. — Ты понимаешь?

— Пойди ты к такой матери, черт бы твою душу забрал, нехай, — сказал Чабан и отвернулся. У виселицы стояли в ожидании его смертной казни несчастные его люди.

— Так, — сказал офицер, словно не слыша Чабана. — А перед тем я прикажу изнасиловать твою жену, чтоб ты увидел свой собственный позор. Я убью твоих детей, чтоб не осталось на земле твоего следа, так как это земля уже наша. Потом тебя повесит твой бывший сосед. Он давно об этом мечтает, еще с Сибири.

Чабан оглянулся. За спиной у него стоял, как привидение, высланный кулак Максим Заброда. Откуда он появился? Чабану показалось, что он даже пошатнулся. На одно мгновение он увидел свой последний день. У него пересохло во рту, и он с трудом облизнул губы. Заброда тоже весь побледнел и тяжело задыхался. Офицер был явно доволен встречей соседей. Он был опытный, утонченный специалист.

— Ты партизан. Я не должен обойтись с тобою просто. У меня есть свой престиж, а ты — сильный клиент. О, уже вижу тебя в процессе! — И офицер вдруг так сверкнул глазами, что Чабан даже вздрогнул.

— Сегодня он переночует в лагере за проволокой, — приказал он по-немецки своей команде. — Пусть немного ночью померзнет. Завтра ему будет жарко.

И офицер ушел.

— Стой, куда пошел! — сказал вдруг Чабан тоном приказа.

Офицер остановился, невольно поддавшись его властному тону.

— То, что ты сказал, есть непотребство, недостойное человека. Нечеловеческая смерть — это единственное, что ты можешь мне учинить. Это твоя специальность. Но ведь душа моя свободна от тебя. Ее ты ничем не разрубишь и глаз ей не выколешь. Ты меня пугаешь моим завтра. Так вот завтра, как и сегодня, запиши себе в книгу, — «ой, хоть крикни — не докрикнешь, ой, хоть свисти — не досвистнешь». Я смеюсь над

тобой! — Последние слова Чабан прокричал громко, чтоб всем было слышно, чтоб хоть немного поддержать людей, стоявших у его петли.

— Прошу без агитации, — гадливо поморщился офицер и подошел близко к Чабану. — Напрасно просишься на пулю, — спохватился офицер. — Завтра умрешь, как я сказал.

И ушел в хату.

■

У шоссеиной дороги, за селом, там, где когда-то из-под обрыва брали песок, в провалье расположился лагерь пленных. Он был обнесен высокими свежими столбами и обмотан густой колючей проволокой. Над обрывом и по углам стояла сильная стража. Всякая попытка не то что бежать, а даже прикоснуться к проволоке каралась смертью.

Тысячи людей, лишенных оружия и закона, умирали в этом лагере невольниками на своей растерзанной земле. Они были полуголые и босые и так истощены горем утрат, и холодом, и грязью, и вопиющим голодом, что уже и сами себе казались не людьми, а каким-то невиданным созданием больного воображения, каким-то символом недоли и горя. Они умирали день и ночь сотнями от голода и ран, передавая живым последние поклоны и прощания, и мертвыми лежали среди живых, и живые не плакали над мертвыми, так они хотели хлеба, хлеба, хлеба!

Трудно найти словесные краски, какими можно было бы написать картину этих лагерей, и прошумят, может быть, долгие годы, пока родится новый Данте и создаст своим гением, приумноженным неслыханным множеством людского горя, новую «Божественную комедию» для грядущих поколений, как величественное воспоминание про дорогую цену, что заплатил наш народ, когда на его широких кровавых полях решалась судьба человечества.

Сегодня Дантову аду посчастливилось. Днем приезжали из Берлина кинооператоры. Пленным бросали с обрыва дохлых лошадей, и они разрывали их зубами на куски и глотали и грызли лошадиные кости, — так силен был голод. Операторы снимали это кормление привидений, чтобы весь немецкий мир видел, все немки и немчата, какие поганые и некрасивые люди, против которых империя подняла свой меч.

Вечерело. Невольники залезали в норы и стучали зубами от холода. Под холодным осенним небом лагерь казался огромным кладбищем разрытых могил, где на дне лежали живые покойники.

Из одной могилы тихо возносилась вверх песня про горе, и не про людское, ну его, горькое да некрасивое, а про горе чайки-горемыки, что давным-давно когда-то вывела было чайчат при широкой дороге. Про далекие чумацкие дороги и про беспечных чумаков, что все, бывало, пели, за волами идучи, и согнали чайку, и детей забрали. Как билась чайка об дорогу, как припадала она белой грудью до сырой земли, как жалобно молила певцов дорожных: «ой, верніть мені чаєнята, я їх рідна мати!»

Гремели выстрелы часовых, и автоматы раздирали песню. Над лагерем стоял сладкозатый трупный смрад и тяжелая невыразимая печаль.

За колючей проволокой сидел Чабан и плакал.

Кто завтра крикнет ему — слышу?! Кто поддержит его добрым словом, когда начнет ломаться его воля от хруста костей и сдирания кожи, когда боль выйдет из берегов, выльется лавой из вулкана и начнет заливать мир, когда начнет он падать духом, а надо будет крикнуть в последний раз на все село: «Не забудьте!» Отпразднует ли завтра он достойно свой страшный праздник? Когда-то в детстве Страшный суд представлялся ему тоже как праздник.

На темное небо повыходили звезды.

Чабан посмотрел вверх. Небо было огромное, торжественное, вечное. Далекие звезды освещали его холодным безразличным светом. Ощущение вечности и бесконечности мира опустошило его усталую душу и немного успокоило.

«Что смерть моя и смерть моих детей? — подумал Чабан. — И что мои мизерные муки, когда исчезают в небытие тысячи наших людей, гибнут семьи, гибнут целые роды без числа и края».

Чабан опустил голову и начал трогать и гладить свои руки и ноги.

«Какие у меня хорошие, сильные ноги и руки. Сколько хлеба напахали они, сколько сена накосили и собрали в стога, сколько людей накормили, сколько походов прошли!»

Он закрывал руками глаза и, глядя на звезды, снова раскрывал их, как они видят и как не видят. Как быть слепым. Он готовился к завтрашнему дню, словно борец к неслыханному состязанию.

«Не дождешься, офицер, услышать мой голос! Не дождешься...»

Он так сжал челюсти, что у него затрещало в ушах, и он с трудом разнял их.

«А может, выручат партизаны?» — подумал он и даже стал вглядываться за проволоку в кусты, не идут ли его хлопцы.

Нет, не выручат его партизаны. Далеко они за речкой, в лесах и оврагах. Много немцев ночует сегодня в селе.

Когда-то ночью, где-нибудь в лозах расскажут им, как умирал их командир, как презрел он свою смерть, чтоб не забыли они его, пока живы будут, и отплатили врагу щедрою рукой.

Он был их предводителем еще с детства, когда они начинали пасти гусей, потом телят, потом перешли в конский класс и стали ходить на улицу к дивчатам.

Уже тогда все подчинялись ему.

Он любил ловить с ними рыбу. Он стал вспоминать рыбную ловлю, и его вдруг затошнило. Голод снова набросился на него, словно дикий зверь, и впился ему в живот и в горло.

Как хочется есть, как хочется есть! Дайте хлеба. Принесите кто-нибудь хоть корочку.

— Петро... Петро... — как будто послышался издали женский клич.

Чабан поднялся и стал прислушиваться.

— Петро... это ты, Петро? Я принесла тебе поесть! Хлеба, картошки и груш...

Он узнал голос Левчихи. Она притаилась где-то в кустах и тихо-тихо звала.

— Я сейчас положу возле проволоки и убегу. А ты возьми и никому не давай, наедайся, слышишь? А утром доешь, крепче будешь. Слышишь?

— Слышу, — глухо ответил Петро.

— Гляди, я бегу, — тихо, шепотом простонала Левчиха и выбежала из кустов прямо к нему.

Прогремел выстрел — ррр...

— Ай! — испугалась Левчиха и тихонько упала мертвая на песок. Узелок с размаху пролетел немного вперед и упал возле проволоки.

И дающая правая рука ее с разгону тоже протянулась вперед и поникла.

Чабан припал к земле и быстро приполз к проволоке. Изосил он протянул руку к хлебу и не достал.

— Тетушка, — прошептал он, хватая пальцами песок.

Левчиха не отзывалась. Она лежала маленькая, аккуратенькая, в праздничной одежде. На ней была чистая сорочка, которую она давно еще держала в сундуке на смерть, и старинная длинная безрукавка, и новая черная юбка в мелких синих цветочках. А на шее даже ниточка мелкого кораллового

мониста с дукачем еще с девичьих лет. Она предвидела свою смерть. Вечный покой уже разливался по ее челу. Оно словно светилось в сумерках.

Не вернемо, чайко, ти матінко наша,
З'їли твоїх чаенятко, добра була каша.

Разносился над лагерем из ямы тихий чумацкий реквием. Неумирающий голос седых столетий звучал в темноте над колючими проволоками. Уже ничего и не просил он и не упрекал, не проклинал. Была уже в нем одна примиренность с неумолимым бегом времен и очищенная, настоящая на сухих цветах давности, прозрачная печаль.

■

Над мертвой Левчихой стоял начальник службы порядка Максим Заброда с желто-голубой повязкой на руке. На груди, на ремне блестел у него автомат. Чабан встал, и они сразу узнали друг друга.

— Хорошо поет недоля, — тихо сказал Заброда.

Он подошел к проволоке.

— Сегодня не мешало б и тебе затянуть что-нибудь, га? Я пришел послушать. Спой что-нибудь, слышишь?

Из-под нахмуренных густых бровей смотрели на Чабана тяжелые глаза Заброды. Они даже светились изнутри. Сквозь них словно пробивалось пламя разъяренной целой четвертью непряного столетия, темной Забродиной души.

— Подай хлеб, — приказал Чабан и сделал шаг вперед.

— Гальт!.. Покушать захотелось? Давно пора чего-нибудь там перед смертью.

— Ты убил? — глухо спросил Чабан.

— Кого? — Заброда оглянулся. — А, Левчиха... Да что там Левчиха. Мне вот тебя жаль. А придется завтра, как у вас говорят, выполнять офицерский план. Ой, будет болеть, Петро!

Сорвутся с твоего языка и партизаны, и оружие, да будет поздно. Жалко.

— Не нужна мне твоя жалость.

— Такая душа у меня. Ненависть у меня к тебе, Петро, старая, как застарелая болезнь, а вот пришел твой смертный час — жалко... Может, что-нибудь придумаем... Скажи, где партизаны и оружие. Может, придумаем, га? — Заброта близко-близко заглянул Чабану в глаза.

— Уйди от меня, сатана. Иди погавкай офицеру, что на мне земли ты не зарабатываешь. Пойди, вот он стоит под деревом, я вижу.

— Ну что ж, вечная тебе память за такой характер. А я, глупый, думал было...

— Что? Заработать на партизанах? Иуда.

— Эге, Христос нашелся. Я уже заработал и так немало в Соловках. Кто меня туда загнал со всей фамилией? Кто?

Заброта поднял кулаки и весь задрожал.

— Сводил ты со мной счеты, Чабанюга. Теперь вот я с тобой сведу. Вот завтра будет мой кулацкий юбилей. Запьем советскую власть и Левчиху... Вишь, паскуда, нарядилась, словно на пасху!

— Не смей так говорить про нее, слышишь! — разгневался Чабан. — Не смей!

— Ты думаешь, не знаю, где сын ее? В лозах у тебя.

Заброта бросил на песок автомат и подошел к самой проволоке.

— У... ты... Боишься?

— Кто-о?

Дальше они не выдержали и вцепились сквозь проволоку друг в друга. Они начали ломать друг другу руки и пальцы. Потом они обнялись и долго душили друг друга сквозь проволоку.

— Тихо, хранишь. Тихо!

— Тихо! Слышишь?

Долго говорили они у колючей проволоки. Говорили о власти, о земле. Говорили про кулаков, про ссылку, про страдания на чужбине, про голод, про смерть, про измены.

Они плевали друг другу в глаза Сибирью, чужбиной, и страданиями, и голодом, и смертью. Они плевали друг другу в лицо Гитлером, немецкими погромами, и пожарами, и виселицами, и немецким рабством, и ненавистью к Гитлеру всего мира. Ненависть разбушевалась в их пламенных душах и вырывалась страшными взрывами, одна против одной.

Они били друг друга тяжелыми ржавыми обломками своей тяжелой истории и оба стонали от ударов. Они шипели как змеи друг другу в раскрытые рты, про Богдана, про Мазепу, про царей, про Петлюру и Гитлера, и рвали, кто что ненавидел, и топтали ногами.

Они то отходили друг от друга, то снова сходились и снова хватали друг друга и вглядывались друг другу в темноте в сверханье глаз и зубов. Они душили друг друга и прижимали грудью головы к проволоке, и колючая проволока впивалась в их лбы, и кровь стекала с них, и ненависть, и страсть.

— Тихо, тихо...

Они не могли уже разойтись. Они мяли и ломали и щепотом ненавидели друг друга в осенней ночной тишине, чтобы не подошел кто-нибудь.

Они говорили то тихо и медленно, как бы нехотя, утомившись, и тогда слова вырывались из уст, как одинокие выстрелы, то внезапно, когда острота ненависти снова начинала раздирать их горячие души; они расстреливали друг друга в упор бешеными ураганами словесного огня. Тогда слова вылетали из них с быстротою необычайной. Слова часто сталкивались на дороге, сбивались в кучу, ломали, уродовали друг друга и, разрываясь, разлетались в куски, в крик, в вопль, в хрип, в стон. Тогда пена закипала у них на побелевших губах и брызги вылетали изо рта и казались ночью искрами, как у разъяренных драконов.

— Пусти меня! Ай... пусти!

— Ага, просишься, гад? Вот завтра вытянем из тебя жилы. Нарежем красных звезд из твоей проклятушей шкуры.

— Режьте, черт вашу душу бери!

— Сам буду резать. Слышишь? Упаду перед офицером на колени. Выпрошу. Сам!

— Слушай, иуда, нечистая сила! Неужели тебя породила земля наша?

И Чабан оттолкнул Заброду.

Всего народила богатая украинская земля. Добро и щедро удобрена она с давних времен. Много рыцарей и сеятелей пахали ее копытами и ралами. Много нечисти засоряло ее мусором. Богата и трудна душа народная. А люди...

Буде тепер їх по горах по долинах, ой буде ж тепер їх по чужих по країнах...

— Что ж вы натворили, немецкие предатели? — сказал Чабан, когда Заброда поднялся и снова подошел к нему. — Откуда налетели вы, черные вороны? Слышишь, темная сила? Все равно пропадет ваш Гитлер. Ничего, что я погиб. Не страшна мне смерть. Слышишь? Но страшно мне, когда подумаю, где ж погниют кости обманутых Гитлером бедных ваших людей? В каких Африках и каких Скандинавиях? В каких песках и в чьих морях?

Заброда схватил Петра за руку.

— У... Пусти, не крути руку, немецкий раб!

— Кто раб? Я раб?

— Ты. А ты думал, кто ты?

— Я...

— Ага. Плачешь?

— Я не плачу. Сам ты плачешь, гад. Чего ты плачешь? Оплакиваешь долю, проклятый?

— Пусти меня. Я не хочу говорить с тобой, — сказал Чабан. — Оставь меня одного. Я хочу перед смертью немного подумать. Иди. Я хочу очиститься от твоего прикосновения.

Я — народный партизан. Слышишь? А ты... труп!.. Мертвый ты!

Чабан посмотрел на Левчиху.

— Подай мне хлеб, слышишь! Хлеб подай! Я не буду его есть. Я поцелую его!

— Не подам!!! — осатанел Заброта и начал бешено топтать узелок с черным хлебом и мертвую руку Левчихи.

Чабан словно окаменел. Он увидел свою смерть — вот она, совсем близко, лютая, неумолимая. И проснулась в Чабане нечеловеческая жажда жизни. Из широких украинских степей, из дебрей, из темных оврагов повеяло на него гарью истории, головнями, дымом и кровавым паром.

Страсть борьбы и мести, вся воля, весь разум, все вспыхнуло в нем с такою страшной силой, что он в одно мгновение словно возвелся в какую-то необычайную степень, близкую к взрыву.

— Стой, собака! — прохрипел он и страшно сверкнул глазами.

Заброта остановился.

— Га?.. Ага! — как-то иступленно агакнул он, раскрывши рот, и повернулся к Чабану.

И бросились они на проволоку еще раз уже молча, ударились грудью, обнялись, и тут только Заброта почувствовал, что он погиб.

Это был уже не тот Чабан. Словно железными клещами впился он в Заброту, обхватил его, оторвал от земли, поднял, крикнул и, тяжело дыша, изо всех сил рванул его на себя и прижал горлом к проволоке.

Не выдержала проволока, порвалась. Тогда, схватив голый рукой проволоку, Чабан закрутил ее вокруг Заброты и завязал на его жилистой шее смертельный узел. Потом, разогнавшись, он бросился на проволоку. Железные колючки впились ему в босые ноги, в руки, в грудь. Они рвали и раздирали в куски его тело, но он уже ничего не замечал.

Он вырвался на волю.

— Гальт! — рявкнул из-под дерева офицер и, торопливо вытягивая из деревянной коробки маузер, бросился к Чабану. Он не ожидал такого поворота действий. Чабан вылез уже на ограду. — Гальт! — крикнул еще раз уже возле самой проволоки и прострелил лицо Чабана почти в упор. Стрелять вторично ему уже не довелось. Молниеносным прыжком Чабан обрушился на него сверху, опрокинул и убил одним ударом кулака в ухо. Удар был такой страшной силы, что офицер умер мгновенно. Но Чабан не мог уже остановиться. Выплюнув офицеру в лицо с десяток своих зубов, он бил его по голове так, что кости пальцев поломались в кулаке.

— Ой, хоть крикни — не докрикнешь... не докрикнешь...

Загремели выстрелы. Тогда Чабан схватил автомат Заброды и выпрямился, весь в крови, горячий и вдохновенный.

— Гей! Подымайся, кто силен да здоров! Гей, кто хочет жить, вылезай из могил! Вставайте, гей!

— Гальт! — кричали немцы, выскакивая из караульной.

— Разгибайте спины! Разрывайте проволоку!

— Гальт! Гальт!

— Ура-а-а! — загремело в лагере.

— Слушайте! Слушайте, кто презирает рабство!..

— Вперед, братья! Ура-а-а!

И вылезло из могил, из пещер, из ям все, что было за проволокой. Все разогнулось, встало и бросилось на проволочный забор с такой силой, что он упал и в одну минуту погруз в песок под тысячами ног.

— Свобода!

Уже передние ряды достигли кустов. Уже кое-кто думал, что все спаслись, только ударили вдруг проклятые немцы из доброго десятка автоматов в самую людскую гущу. Множество людей покатилося на земле, застонало. Кое-кто в смятении остановился.

— Не останавливайтесь, не стойте, пропадете все! Ни шагу назад! — гремел Чабан. — Слуша-а-ай!

Такого еще не видели ни украинская луна, ни звезды. Чабан был вдохновенный, как пророк. Его уже ничего не брало, Он один уничтожил добрую половину немецких автоматчиков. Когда у него кончились патроны, он бил немцев автоматом, как булавой, и убивал с одного удара. Для него словно не существовала темнота. Он видел всех и все. Он выводил людей за Десну, туда, где было зарыто оружие.

— Не отступать! Вперед, за мной!

Устилая дорогу трупами, бросились за Чабаном через кусты в лозы окруженцы. Никто не отступил, ни одна душа, так хотелось жить. Так хотелось жить, что вода закипела в Десне, когда бросились ее переплывать люди. Прыгали с обрыва в Десну даже те, кто сроду не плавал, и, не умеючи, переплывали, перелезали Десну, удивляясь своей необычайной власти над водой. Только некоторые, у кого от голода не хватило силы или страсти или кто был ранен, те не смогли победить своего неумения плавать. Они погибли в чистой Десне, не замечая, что они тонут. Но и в последнее роковое мгновение им еще казалось, будто они летят на свободу, и радость не покидала их до самой, до самой смерти.

И только кое-где показывалась из Десны трудовая рука, как бы посылая живым свой последний привет:

— Прощайте, товарищи! Выплывайте на берег! Выплывайте, братья, да добре отомстите за Украину! Да будьте счастливы, да непременно ж будьте счастливы!.. Потопяю...

И исчезала трудовая рука в седой воде.

А Петро Чабан с братьями гуляет и поныне над Десной, живой и здоровый, и сеет смерть немецким оккупантам щедрою украинской рукой.

НОЧЬ ПЕРЕД БОЕМ

— **Т**оварищ командир! Завтра вы поведете нас в бой. Мы все вот тут — и старики, что по полгода на войне, и молодые, вроде Овчаренко, что идут в бой впервые, все мы знаем, что завтра бой будет горячий и кое-кто из нас, конечно, погибнет. Правду я говорю?

Иван Дробот, молодой танкист с чрезвычайно приятным и скромным лицом, волновался.

— Правду, — ответил просто и спокойно Герой Советского Союза, знаменитый их командир Петро Колодуб. — Продолжайте, Дробот, что вы хотели сказать перед боем.

— Я хотел спросить вас, хотя о вас пишут во всех газетах и на собраниях говорят как о человеке бесстрашном и неутомимом, хоть вы на вид, извините, такой маленький и не очень как будто здоровый, так вот, откуда оно у вас берется, все

это, что говорят, и сами мы знаем, что вы из любого пекла выходите победителем; так вот, что вы за человек такой, скажите нам неофициально, как будто мы и не на войне совсем. Где ваш не боевой, а, как бы сказать, внутренний секрет? Может, я не так высказался, извините.

Дробот покраснел от своего долгого и путаного вопроса. Ему казалось, что он неясно выразился, и это его совсем расстроило.

— Нет, хорошо, Дробот. Вы прекрасно и тонко высказали свою мысль, и я с большой охотой вам отвечу, тем более что и секрет такой у меня действительно есть.

Все бойцы и командиры, а их было в землянке человек тридцать, задвигались и, расположившись для долгого и приятного слушания, притихли. Командир умел рассказывать. Они были добрые бойцы, и Петро Колодуб любил их. Отложив на походный столик трубку, он немного выждал, пока стало совсем тихо.

— Это было на Десне, — начал знаменитый капитан, улынувшись. — Да... Одним словом, самый обыкновенный наш украинский дед-рыбалка перевернул мне тогда всю душу.

Кто из бойцов, познавших всю тяжесть прошлогоднего фашистского вторжения, забудет этого деда? Помните осень? Что ни река, то и драма, то и перевозчики-деды, словно добрые речные духи. Они были смелые, эти деды, суровые и не боялись смерти. Кое-кто сказал бы, что они не любили нас на переправах. Иной раз их нелюбовь к нам ну прямо-таки не знала границ. Было такое?

— Было, — вздохнули в землянке.

— Ну так вот, слушайте.

Капитан Колодуб подобрал под себя ноги — это была его любимая поза с пастушеского детства — и, упершись руками в колени, посмотрел на бойцов.

В землянке было накурено. Бойцы сидели в полутьме в самых разнообразных позах, прислонившись друг к другу. Все

они были разные и все родные. Всех их объединяло чувство единой семьи, то незабываемое и неповторимое, что перед лицом ежедневных опасностей сближает на войне чистые сердца юношей, что остается потом у человека самым дорогим воспоминанием на всю его жизнь.

Пройдут года, заживут раны, запашутся вражьи могилы, застроятся пожарища, и многие события перепутаются в седых головах от частых воспоминаний и превратятся в рассказы, но одно останется неизменно верным и незабываемым — высокое и благородное чувство товарищества и братства всех бойцов, что уничтожили и стерли с лица земли фашистское безумие.

— Мы отходили без связи, без артиллерии, мы отступали на восток день и ночь. Вражьи клещи вот-вот должны были сомкнуться перед нами. Мы несли на плечах своих раненых товарищей, падали с ними, проклинали все на свете и шли дальше. Правду сказать, были такие, что и стрелялись в отчаянии и гордости. Были такие, что бросили оружие и с горькой бранью ползли к своим хатам, не имея духу пройти мимо.

Колодуб замолк, задумавшись.

— Нас было немного, человек пятнадцать, — сказал он тогда. — Было несколько танкистов из разбитых танков, были пулеметчики, политработники, два бортмеханика, радист и даже один полковник без полка. Я был тогда еще командиром танка, оставшегося у немцев с пробитым мотором. А до войны я был садовником, лесни пел, дивчаток любил, да, кажется, и все.

Капитан Колодуб так тепло и вместе с тем с такой иронией усмехнулся, что за ним усмехнулась вся землянка.

— Мы выбились из сил. Ноги нас уже не несли, наступала ночь. Перед нами, за селом, большая река. Многие из нас не умели плавать. А враги были недалеко.

Нам указали хату перевозчика.

— Тикаете, бисовы сыны? — спросил нас дед Платон Пивторак, выходя из сеней с веслом, сетью и деревянным черпаком. — Богато я уже вас перевез. Ой, богато, да здоровые все, да молодые, да все — перевези да перевези... Савка! — крикнул Платон в соседнюю хатку. — Пойдем, Савка. Надо перевозить — нехай уж тикают. Га? Пойдем, пойдем, это уже, мабуть, последние!

Савка вышел из своей хаты и смотрел на нас с притворным удивлением. Было ему лет семьдесят, если не больше. Был он маленький, с подстриженной бородкой, очень похожий на икону Николая-угодника, если бы безобразная, как коровий кизяк, кепка не лежала у него на ушах да землистого, так сказать, цвета свитер не висел на нем, как отцовский пиджак на подростке.

За дедом Савкой из сеней вышел здоровый хлопец с двумя веслами.

— Э-ге-е! Что-то вы, хлопцы, не той, не как его, не туда будто идете, — сказал дед Савка и хитро посмотрел на нас. — Одежда вот на вас новая, да и торбочки и ремни, эге, и сами молодые, а заворачиваете не туды, га?

— Пойдем, уж довольно, — сказал Платон.

Пошли.

— Успокойтесь, лодка есть, и довольно порядочная, — прошептал я нашему спутнику Борису Троянде, который все время волновался больше всех. Он не умел плавать.

— Вы думаете, они нас перевезут? По-моему, надо быть очень осторожными, — сдерживая волнение, сказал Троянда.

— Не знаю, чего они так тикают? — сказал дед Платон, идя с Савкой к реке, как будто нас тут вовсе и не было. — Чего они так той смерти боятся? Раз уж война, так ее нечего бояться. Уж если судилась она кому, так и не сбежишь от нее никуда.

— Эге! — согласился Савка. — Уж, как говорится, ни в танке не спрячешься, ни в печи не замажешься.

— Душа несерьезная, разбалованная, — сердился Платон. — Ты возьми моего Левка. Как он на Халхин-Голе тех самых, как их, бил? Всех до одного вычистил! Читал письмо? Полковник Левко Пивторак, я понимаю! А это казна-що, на люди.

Мы шли молча тропинкой в густом лозняке. Деда шли впереди с сетками и веслами, очень медленно, как на обычную рыбную ловлю, и, казалось, не обращали никакого внимания ни на орудийную стрельбу, ни на рев вражеских самолетов, — словом, весь фашистский фейерверк, что так замучил нас за последние дни тяжелого отступления, для них вовсе не существовал.

— Слушай, старик, ты не можешь идти немножко быстрее? — обратился к Платону Троянда.

Платон не ответил.

— Слушайте, диду, вы не можете идти немножко швидче? — сдерживая себя, спросил Троянда еще раз.

— Не могу, — ответил Платон. — Чего вы такой швидкий стали, кто вас знает? Стар я уже швидко ходить. Отходил свое.

— Скажите, а где речка? Далеко речка?

— А вот и речка.

Действительно, лозняк сразу кончился, и мы вышли на чистый песчаный плес. Перед нами была тихая, широкая Десна. За рекою крутой берег, а далее вправо — снова пески и лозы. За ними темные леса, а над рекою и над лесами вечернее небо, какого я никогда в жизни таким не видел.

Солнце давно уже зашло. Но его лучи еще освещали из-за горизонта верхи исполинского нагромождения туч, что надвигались с запада на все небо. Тучи были тяжелые, темно-темно-синие, снизу совсем черные, а самый верх, самый конец их, почти над нашими головами, написан был буйными, кручеными, кроваво-красными и желтыми мазками.

Величественные немые молнии воробьиной ночи полыхали меж громадами туч, почти не угасая. И все это отражалось

в воде, и казалось, что мы стояли не на земле и что реки нет, а есть межоблачный темный простор и мы, затерянные в этом просторе как речные песчинки.

Небо было необычайное. Природа была словно в заговоре с событиями и предупреждала нас своими грозными знаками. Рыба боялась такой ночи и бросалась на отмели у берегов. Где-то за нами, под самыми тучами, взносились как змеи ракеты. Было светло. Светило желтоватым отблеском от зловещей короны туч. Далеко гремели орудия. Мы стояли неподвижно. Было что-то торжественное и грозное вокруг. Все приумолкло и растерялось, точно перед каким-то необыкновенным событием.

— Ну, сидайте, повезем. Чего стали? — сказал дед Платон. Он уже стоял с веслом возле челна. — Повезем уже, а там — что бог даст. Не умели соблюсти себя, так уж повезем, тикайте, черт вашу душу бери... Куда ты шагаешь? Челна не видел, воин? — загремел дед на кого-то из нас.

Мы молча уселись в лодку, и каждый стал думать свою невеселую думу.

— У тебя готово, Савка?

— Можно.

— А туч наперло. Ач що робиться! Страшный суд, что ли, начинается?

Дед Платон поглядел на небо и плюнул в ладонь. Потом он взял весло и сильным рывком оттолкнулся от берега. Савка с внуком налегли на боковые весла. Челн был большой и старый. Весь он был просмолен и иссечен временем.

Я сидел в челне вблизи деда Платона. Я смотрел на тихую реку, и на берега, и на сурового кормчего, что возвышался надо мною на фоне торжественного неба. Мне показалось, что меня перевозят на тот свет. Стыд, и отчаяние, и невыразимая тоска, и множество других чувств охватили мою душу, скрутили ее и пригнули. Прощай, моя красавица Десна!

Меня вывел из задумчивости голос Платона. Он продолжал с Савкой свою беседу, оскорбительную и горькую для нас. Видно, его что-то мучило, что-то хотелось ему додумать до конца. Он словно думал вслух.

— Черт его знает, что оно такое началось. Сегодня утром заходит в хату какое-то дерьмо, да все кругом в оружии, да в ремнях, да не в каких-либо ремнях, а в новых.

— Эге! — слышался сзади голос Савки.

— А это ж все гроши!

— Эге!

— «Вставай, говорит, вези, довольно спать». А я три ночи не спал, возил.

Платон немного помолчал.

— А еще недавно перед вечером перевозил я с Митрофаном одну партию. Так одно, черт его батька бери, в очках, вроде того, что возле тебя сидит, тоже в новых ремнях, так еще револьвер вытянуло да кричит: «Вези, говорит, скорей, куркуль!» Ей-богу, правда. А у самого руки дрожат и очи вытаращил, как ерш чи окунь, от страха. Вот творение, хай бог милует.

— А-а, черт зна що.

— Эге. Так товарищи вступились, спасибо им. «Что же ты, говорят, чертов сын, дида обижаешь?» Да чуть не побили. Так притихло. Вот такая пустота. Ну, ты подумай... О, здорово! — прислушался Платон к орудийным выстрелам. — Скоро, мабуть, появится герман.

Прогремели выстрелы тяжелых орудий. Пролетели перепуганные утки.

— «Диду, перевези...» — сердился Платон.

— Эге! — подхватил Савка. — А не знают, трясца их матери, что уж кому на войне судилось помереть, так не выкрутишься, никакой челн тебя не спасет. Не догонит пуля, догонит воша, а война свое возьмет... Бери влево! Быстрина велика, — захлопал Савка веслом.

— Бери. Коли б мой Левко со своим полком был тут, тот бы не отступил, нет. Тот бы этого челна повернул назад да по шеям, по шеям! — рассердился Платон и налег на весла. — Тот не отступит, нет, черта с два!

— Эге! Вот такой и мой Демид. Его хоть огнем жги, хоть на шматки режь, ну не отступит. Куды твое дело! — сказал Савка и плюнул в ладони.

— А ци думают спастись, а оно, гляди, выдет на то, что долго будут харкать кровью. Это же все доведется забирать назад!

— А доведется, — подхватил Платон и со всей силы гребнул веслом три раза. — Шутка сказать, сколько земли надо отбирать назад. А это же все кровь!

Я смотрел на деда Платона и с трепетом слушал каждое его слово. Дед верил в нашу победу. Он был для меня живым и грозным голосом нашего мужественного народа.

— Наша часть вынуждена была отступить, — сказал полковник.

— Балакай. Не умели биться. Вот тебе и отступление, — сказал Платон. — Что в войсковом уставе сказано про войну? Ну? Сказано — коли целишь в врага, возненавидь цель.

— А где ваша ненависть? — подхватил Савка.

— Эге! А умирать боитесь. Значит, нема у вас живой ненависти. Нема! — Дед Платон даже крикнул и привстал на корме.

Мы не знали, что отвечать.

— О, плыве шось. Наш чи фашист? — сказал дед Платон и притянул веслом труп.

— Фашист... А, холера на твою голову. Уже плывешь. Ач куда забрался. В Десну! Успел, нечистый. А вы все думаете да все страдаете. А страдать некогда!

— Я, диду, ненавижу фашизм всей душою! — крикнул Тро-янда и даже привстал от волнения.

— Значит, душа у тебя мала, — сказал Платон. — Душа, хлопче, она бывает всякая. Одна глубока и быстра, как Днип-

ро, другая — как Десна, вот третья — как лужица, а часом бывает так, что и лужицы нет, а так что-то мокренькое, вроде, извините, бык покропил.

— Ну, а если душа большая, а человек нервный? — обиделся Троянда и рассердился тут же на себя. Был он умный и находчивый человек, а тут вдруг вся находчивость словно испарилась.

— А ты прикуй себя от страха цепью к пулемету, да и клади врага молча до смерти, — сказал Платон. — А там уже когда-то живые разберут, какой ты был нервный. А то, выходит, ненависти в тебе много, а нервов и себялюбства еще больше. Вот и «перевезите, диду!». А ненависть твоя потратится на что-либо другое. Какая же ей цена, когда умирать не умеешь?

— Ну, это не всякий может, — пролепетал окончательно сбитый с толку Троянда.

— В том-то и беда. А надо, чтоб всякий мог, когда враг ломится. Хлеба ж кушать всякий требует. И языками галакать все научились.

— Подай чо-го-го-го! Човен пода-а-ай! Ага-га-га! — донеслось с того берега.

— О, уже распинаются нервные души. А нема того, чтоб тихо подождать, — сказал Савка.

Проплыли немного молча. Платон начал сильно грести веслом. Видно, ему хотелось что-то еще сказать, чем-то перебить свое недовольство.

— Ты подумай, Савка, как смотреть на все это. Ведь люди ж надеялись на них, как я на своего Левка, а оно вот что выходит: «Диду, перезези!» Не знаю, как ты, Савка, — продолжал Платон, — а меня бы с Днепра или с Десны не то что Гитлер, а сам нечистый не выгнал бы, не к ночи будь помянут, прости господи.

— Легко сказать, дедушка. А вот посмотрели бы вы на танкетки! — оправдывался лейтенант Сокол.

— Ну и что ж? — перебил его Платон, очевидно не имея никакого желания выслушивать нас. — Сколько она может убить вас, танкетка? Все равно вам же придется их разбивать, не мне. Я свое отвоевал. А вот Левко мой на Халхин-Голе, слышали, что сделал с этими, как их?.. Танкетки!.. — разгневался дед. — Людская душа молодецкая сильнее всякой танкетки. Было, есть и будет! Как это в песне про Морозенко поют: «Де проїхав Морозенко — кривавая річка» — вот!

Я не выдержал дедовых разговоров, так тяжело мне стало его слушать. В эту минуту он показался мне жестоким и несправедливым дедом.

— А разве вы думаете, диду, что нам не тяжело? Разве вы думаете, что боль и жалость не раздирают наши души, не мучают, не жгут наши сердца адским огнем?! — простонал я ему в самые очи.

— А что мне думать? — посмотрел на меня Платон. — Думайте вы. Жизнь ведь, она уже ваша, а не моя. А только я так скажу вам на прощанье: не с той чаши наливаете. Пьете вы, я вижу, горе и тоску. Зря пьете. Это, хлопцы, не ваши напитки. Это напитки бабские. А бойцу надо напиться крепкой лютости к врагу да злобы. Это ваше вино. А горе и жалость — не ваше занятие. Жалость подтачивает человека, как червь. Побеждают быстрые да сердитые, а не жалостливые! — сказал дед Платон и умолк. Он высказывал наконец свою мысль. Это была его правда. Он возвышался на корме, суровый и красивый, и смотрел вперед поверх нас.

В это время недалеко от нас упал снаряд и поднял вверх огромный водяной столб.

— Ого!.. А что рыбы поглушит в речках!.. — слышался голос Савки.

— Теперь поглушит, — сказал Платон. — Позапрошлую зиму подохла от засухи, а теперь гранатами высадят дотла. Опустеют теперь и речки и все на свете. Приехали.

Челн мягко уткнулся в речной песок. Я вышел на берег совершенно опустошенный и вместе с тем какой-то совсем иной, новый. Как будто я утопил в Десне и свою печаль, и тоску, и отчаяние отступления. Я оглянулся. За Десною горело. И красное зарево пожара как-то по-новому осветило мою душу. Нестерпимый огонь прожег меня насквозь. На мгновение мне показалось, что кинься я сейчас назад в Десну — и вода б расступилась передо мной.

Этого, хлопцы, я никогда не забуду.

Мы стали прощаться с дедами, спеша в кусты...

— Пойдите трохи, — сказал Платон, опершись на весло. — Так что ж прикажете передать фашисту? Как встречать его, как в глаза смотреть?

— Передайте, что мы еще вернемся. Не дрейфьте, дед, вернемся, — попробовал подбодрить деда Троянда.

Дед посмотрел мимо планшеток Троянды и легонько сплюнул.

— По-дай чо-го-го-го! Ого-го-го! — донеслось с того берега.

— Прощайте, спасибо, — тихо говорили мои спутники, уходя в лозы.

— Идите себе... — равнодушно сказал дед Савка. Платон молчал.

Мы ушли в лозы. Я шел последним и думал про деда Платона. Спасибо ему, думал я, что не пожалел нас, не окропил нашу дорогу слезами, что высек из моего сердца огонь в ночи... Отчего ж ты, правда, так горька и солена подчас, думал я и остановился. Потом я побежал назад, к Десне.

Я должен был что-то сказать на прощанье деду Платону. Я выбежал на берег.

Платон стоял у самой воды с веслом, как пророк, неподвижный, и, очевидно, глядел нам вслед.

— Прощайте, диду. Простите нас, что не уберегли вашу старость, — сказал я, задыхаясь. — Мы вас, диду, никогда...

— Иди, не крутись перед очами, — сказал Платон, даже не взглянув на меня.

По сухому, темному его лицу текли слезы и падали в Десну.

Вот, друзья мои, и все. Вот и весь секрет мой, — сказал капитан Колодуб и зажег трубку.

Все в землянке вздохнули..

— Сейчас я Герой Советского Союза. Много я уничтожил врага, что и говорить. Много пострелял в наступлении и гусеницами подавил немало. Бывало, поверите, тошнило от хруста фашистских костей. И сам попадал не раз в переплет. Но где б я ни был, как бы ни бушевали вокруг меня вражьи ветры, им никогда уж не погасить того огня, что зажег во мне когда-то в челне дед Платон... Что наша жизнь? Что наша кровь, когда страдает вся наша земля, весь народ? — Голос капитана зазвучал, как боевой сигнал. — Я, хлопцы, в бою сторукий, помноженный на сто́крат гнева и ненависти! Так...

Капитан Колодуб усмехнулся.

— А все-таки ничего в жизни я бы так не хотел, как после войны поехать на Десну к деду Платону...

— И сказать ему, что он ошибался, товарищ Герой Советского Союза. Добрый вечер! Ну как? — раздался у дверей бравый голос Бориса Троянды, что уже с полчаса как зашел в землянку.

— И поклониться деду Платону в ноги за науку, — сказал капитан, словно не слыша вошедшего.

Стало тихо. Никто не двигался, словно все танкисты мыслями были еще на Десне.

— Нет, товарищ капитан, не поклонитесь вы деду Платону, — вздохнул молодой танкист.

Все оглянулись. Это был Иван Дробот. Он стоял в дальнем углу землянки. Он был как-то особенно взволнован рассказом.

— Деда Платона, товарищ капитан, уже нет в живых, — сказал Дробот. — Как только вы ушли из лозы, сразу подбежали немцы. Долго били они деда за перевоз, хотели было расстрелять, а потом прибыл приказ им немедленно переправиться на другой берег. Ну, повезли. Насело их полным-полно. Выплыли на середину Десны, тогда дед Платон и говорит: «Савка, прости меня!» — «Бог простит». В другой раз: «Бог простит». В третий раз: «Бог простит». Да за третьим разом как подняли они весла да как бросились сразу на правый борт, так и перевернули челны. Все потонули: и пулеметы, и немцы, и деды. Один только я выплыл на наш берег.

— А кто ж ты такой? — тихо спросил капитан Колодуб.

— Я внук деда Савки. Я сидел на втором весле.

— Встать! — скомандовал Колодуб.

Все встали. Долгую минуту стояла молча семья бойцов.

Капитан был бледен и торжествен. Он стоял с закрытыми глазами. Потом он опустил на одно колено, все последовали за его движением.

— Готовы к бою? — спросил капитан Колодуб и вырос перед бойцами, как дед Платон на Десне.

— Готовы на любой огонь!

Тихо стало в землянке.

Тихо и на позиции. Только далеко на горизонте качался в небе огненный знак прожектора.

1942, май,

Юго-Западный фронт

МАТЬ

Не ради слез, и скорби, и печали и не во имя гневного проклятия, они уж трижды прокляты и так всем миром, а ради славы нашего рода написано и во имя любви про эту высокую смерть.

И хоть много суждено нам незабвенных утрат, хоть легче было бы очам почитать что-либо веселое среди трудов и грохота сражений, прочтем о матери — Марии Стоян.

■

Кто среди вражеских трупов бежит по селу, а село догорает?

Кто стонет? Чье сердце трепещет в груди, словно выпрыгнуть хочет вперед?

То Василь с автоматом и бомбами, Марии Стоянихи сын.

Кто мертвый висит возле печи под небом?

Мати. Василева мати.

Бежит Василь весь промокший от долгого боя, бежит взволнованный, тревожный. Как он сражался перед родным селом! Разведчиком был, громил точки, разнес гранатой дзот, что был когда-то дядьковою хатой. Дрогнул враг, погнажи.

Пробежал Василий все село, все то, что было когда-то селом. Две сотни пожарищ, сожженные сады, черепье, ямы и множество застывшего врага в грязи и крови.

— Мамо, где вы? Это я, Василь, живой! Ивана убили, мамо, а я живой... Я убил их, мамо, сотни две... Где вы?

Подбежал Василь ко двору. Здесь был двор под самую горю.

— Мамо, матушка моя, где вы? Родная моя, что ж не встречаете меня? Что не слышу я вашего тихого голоса? Где вы, голубка, мамонька моя седая?

Остановился Василь у хаты, а хаты нет. Василь во двор — нет двора. В сад — нет сада. Только одна старая груша, а на груше мать.

О, смутный час...



Когда она была еще жива и хата была цела на краю села, зимою, в лютую пургу, однажды в полночь кто-то постучался в дверь.

— Кто здесь?

— Тетушка, пустите, погибаем!

— Кто вы, голубчики, откуда вы, какие?

— Мы русские, тетушка. Свои мы. Летчики. Упали мы.

— Господи, сыночки! Идите скорей. Я дверь закрою... Не увидал бы кто! Немцев же полно.

Вошли, обнявшись, в хату два калеки.

Упали на пол, заснули вмиг, словно провалившись в сон, и проспали больше суток. Думала, померли.

Уже и ноги обмывала им горячею водою и печку натопилā, разогрела раз а три еду — спят. И плакала ночью и днем, вспоминая сыновей своих Ивана и Василия. Кто ж их накормит, кто пригреет в лихую годину? Где они? Может, лежат уже где-то среди снежного поля, и метели шевелят их буйные чубы, или висят на виселицах в немецкой неволе, и вороны клюют им очи на морозе. И никто не взглянет, не спросит, не заплачет!.. Такое множество смертей вокруг. Дети, дети...

Степан Пшеницын и Костя Рябов были оба с Урала. Они принадлежали к той породе русского юношества, которая долгие годы будет предметом изучения и глубочайшего удивления историков великой человеческой драмы. Заросшие, опаленные холодными ветрами и невзгодами жизни, они грозно стонали во сне, тяжело дыша. Война волновала их спящие души, война! Они были простые уральские юноши, в меру грамотные, честные, работающие комсомольцы из хороших рабочих семей. На войну им идти не хотелось, но они не плакали и не прятались от нее, по доброму русскому обычаю. Они пошли на фронт добровольцами, чтобы скорее добраться до врага и уничтожить его.

Летчиками они стали быстро и так же просто и легко, как могли бы стать подводниками или снайперами. Природа наделила их всем в доброй мере, и сами они были добрыми.

— Сначала, матушка, мы долго гатили фрицев тяжелыми бомбами, а потом перешли на культурно-просветительную работу. Не хотелось нам, правда, да надо — приказ.

— А что ж оно за работа такая? — спросила Стояниха, когда вечером как-то тихонько разговорились они в темной хатке.

— Разбрасывали над Украиною листовки, матушка, — сказал Пшеницын. — Чтобы знали люди правду о войне.

— Ох, великое дело, голубчики мои, — вздохнула Стояниха. — Куда там бомбы, хай им хрен! Святое дело — добрая весть в неволе. Такая темнота кругом да так забили головы

людям лукавыми фашистскими брехнями, что жить невозможно. Порой казалось, все уже кончено, подумайте... Так это вы?...

И тут впервые, слушая простые материнские слова на обездоленной братской земле, почувствовали Рябов и Пшеницын, какая великая миссия им выпала в жизни.

В бедной старенькой хате, в сумерках, под завывание метели и грозный гул недалекого фронта узнали они, как переписывали люди эти листовки от руки, как изучали на память каждое слово и передавали из села в село, чтоб не погасла вера. Слова правды горели во тьме, как пожар в долгую холодную ночь. Тысячи людей, утративших веру, опутанных в неволе, спасались листовками от поступков отчаянных и ужасных.

Долго сидели в разуме Пшеницын и Рябов. Потом они рассказали ей, как упали они, подбитые, ночью среди леса, как поломали себе руки и ребра и головы побили, как бежали они на восток лесами, ярами, как скрывались от немцев в провальях, сугробах, оврагах, и, рассказывая, сами дивились необычайной своей силе и воле к жизни.

— Где ж это было, голубчики? — спросила Стояниха, горестно всплеснув руками.

— Далеко. Много километров.

— Давно?

— Да больше месяца. Уж кости посрастались.

И показали они матери страшные свои увечья и шрамы.

— Ой, спасите!..

— Ничего, родная. На живой кости нарастает. Мы такие люди, что все перенесем. Нам бы немножко еще полежать да набраться силы, а там проберемся через фронт хоть под снегом, — утешали старую Марию Стояниху неугомонные дети.

— Ну что с вами сделаешь? Вот такие и мои...

Две недели прятала Мария гостей. Стерегла хату, кормила, а когда все вышло, пошла по селу просить милостыню.

И никто не отказал ей и не спрашивал ни о чем, хотя каждый про себя догадывался: не пошла бы Стояниха просить для себя.

Но не судилось Марии уберечь детей. Однажды утром вдруг забушевал орудейный гул. Приближался фронт. В село вползали новые потрепанные части. Мария глянула — и в хату.

— Деточки! Идут!

Немцы на пороге.

— Что за люди?

— Сыны мои.

— Брешешь!

— Не брешу, клянусь!

— Обыскать хату!

— Не трогайте, они больные. Поломанные... Боже!

— Гальт! Ваша мать?

— Наша, — сказал Рябов.

— Врешь, комиссар! — да за оружие.

Стала мать перед детьми. Обоих закрыла.

— Не дам! Бейте меня... Не дам, людоеды!.. Голубчики! Не волчица ж вас родила, а женщина, мать!.. Мои сыны!

— Зачем прятала?

— Боялась. Вы такие страшные! Ничего ведь нет на свете страшнее вас!

— Ха! Правда? Ты имеешь резон, старушка. Страшнее нет и быть не должно! — смеется сучий сын.

Через два часа немцы согнали на площадь всех недобитков села на очную ставку.

Поставили Пшеницына и Рябова перед селом. Глянули они на людей. Ни одного знакомого лица.

— Прощай, Урал... — прошептал Пшеницын, взглянув на друга.

— Прощай...

— Люди добрые, смотрите — Иван и Василь! Разве не узнали? — билась Стояниха, словно чайка об дорогу. — Скажите,

что мои! Что ж вы молчите? Пожалейте, разве вам не жалко? Людоньки!..

Люди плакали и, не боясь угроз, признали. Даже староста и полицейские не посмели сказать — нет.

Одна только Палажка, вдова убитого партизанами начальника полиции, зловеще молчала.

— Палажка, скажи — сыны! Не то прокляну тебя на том и на этом свете, — шептала Мария Стояниха. — Помни, бог тебя спросит, Палазя...

Палажка молчала.

— Фрау Палажка, есть это сыны? — спросил немецкий комендант.

Все замерли и не сводили глаз с Палажки. Стало тихо-тихо.

Комендант побагровел. Толстая его шея раздулась, как у кобры. Он догадался про сговор.

— Ну?

— Сыны, — сказала Палажка и опустила глаза.

Тогда он ударил ее изо всей силы в правую и левую щеку. Она упала на землю как сноп, не успев даже крикнуть, а он вдруг к летчикам:

— Ваша фамилия?

— Ой! — застонала Мария, словно ранили ее в самое сердце. Она не сказала им своей фамилии, а они не спросили ее по глупой, глупой своей невнимательности и небрежности.

Свалившись наземь от удара в темя, она не скоро поднялась. Но она слышала будто сквозь сон, как звали ее Пшеницын и Рябов.

— Прощайте, матушка! Спасибо! С такою матерью и умереть не страшно!

Раздались выстрелы...

Они лежали на снегу обнявшись. А ее взяли под руку и повели, избивая по дороге чем попало. Разнесли гранатами хату и повели к груше. Закружилась перед глазами груша.

— Не вешайте, не срамите меня. Как же мне висеть? Я старая женщина. Дайте мне пулю, одну только пулечку, молю вас, умоляю...

Не дали. Тогда она быстренько стала на пенечек, перекрестилась.

— Не трогайте, недолюдки. Не прикасайтесь к моей шее...

Сама надела.

— Дети! — и отделилась от земли.



Долго лежал Василь на снегу под грушей. Никто не слышал ни стонов его, ни жалоб, ни скрежета зубов. Под утро, когда от мороза окаменело его сердце и грозный орудинный гул возвестил зорю, Василь притих, словно уснув от огромной усталости. Потом, поднявшись с земли, он поцеловал холодную материнскую руку.

— Прощайте, мамо... Всю свою доброту и кротость, что подарили вы мне, я оставляю с вами возле груши, мамо.

Потом он подошел к пожарищу, поднял горсть пепла и завернул в платочек.

— Вот это, мамо, я заберу с собой, чтоб не уставали ни ноги мои, ни руки, ни сердце.

Проходили дорогою на запад боевые отряды.

— Боец Стоян!

— Иду!

— Что за женщина висит?

— Мать!

— Мать?

— Мать, товарищи, родная моя мать...

— Рота, сто-о-ой!.. Шапки долой! Вперед, ма-а-арш!

Перед нею проходило войско без шапок. Величали дети материнство, направляясь в бой. Грели орудия. Солнце 104

снега черзонило. От пушечного грома осыпался иней и сверкающие снежинки падали с груши на материнские раскрытые очи.

■
Кто же не поклонится из живых и грядущих неумирающей красоте Марии Стоянихи, матери, что просила милостыню для детей чужих? Смотрите, вот она висит перед нами, возносится над родною, замерзшей землей. Руки ее маленькие и нежные, с длинными красивыми пальцами, те самые трудовые руки, что так много сотворили хлеба, пряжи, семян, протянулись ладонями чуть вперед.

— Нет уже, деточки, ничего. Все отдала, будьте счастливы!

Вся ее маленькая фигурка словно летела в холодной синеве, и седая голова ее, склонившись набок, касалась предвесенних туч.

Вечная слава вашему имени, мамо Мария.

Не разъезжали вы по свету, по границам. Вам было некогда. Вы, как пчелка, были заняты и от росы до росы носили мед в советский улей, пока не отняли у вас жизнь недолюдки.

Но граница еще приедет к Вам, наша Прекрасная Дама, приедет поглядеть на вашу печь под небом, на сухую гвоздику от дурного глаза в печурке, на памятник ваш. И если останется в мире хоть капля совести, он поклонится вашей красоте, дорогая наша мать, славянка — украинка дорогая.

Были вы коммунисткой или нет? Был ли у вас партийный билет? Наверное, не было. Но зерно, посеянное великим сеятелем Лениным, взошло и выросло в сердце вашем.

Пусть же знает мир, как висели вы, мамо, на старой груше за други своя в великую всемирную войну в украинском кровавом селе на Украине кровавой.

18. II. 1943

Москва

ВОЛЯ К ЖИЗНИ

— **С**кажи мне, друг, — спросил я армейского хирурга Миколу Д. — Вот ты проработал на фронте полтора почти года. Ты резал сотни людей...

— Тысячи, — спокойно поправил меня хирург.

Тысячи... Я закрыл глаза, стараясь представить себе страдания, стоны тысяч людей, тысячи вопрошающих хирурга глаз — о, скажите, доктор, скажите!..

— Какой огромный труд! Какое напряжение чувств! — подумал я вслух.

— Привычка.

— Да?.. Возможно. Но вот, купаясь ежедневно по привычке в открытом, так сказать, котле людских страданий, что ты нашел там в человеке? В этих количествах и разнообразиях людских увечий нашел ли ты что-нибудь неведомое, но-

вое, какую-нибудь тайну в человеке на войне? Или ты дальше своего ножа не видел и ничего не нашел?

— Нашел! — сказал мой друг и заходил по комнате, очевидно вспоминая, а я следил за ним глазами и, признаться, завидовал ему. Я втайне преклонялся перед его профессией. Спасение человеческих жизней и облегчение страданий всегда казались мне самыми высокими и благородными доблестями человека.

— Воля! — сказал хирург, остановившись и даже стукнув своим здоровым мужицким кулаком по столу. — Человек на войне — это воля. Есть воля — есть человек! Нет воли — нет человека! Сколько воли, столько и человека, — вот что я нашел.



...Ах, как не хотелось ему падать, как не хотелось бросать автомат! Но автомат уже выпал из рук и лежал на земле. И уже нечем было его поднять. Правую руку, правда, только слегка задело минной дробью. Но левая — товарищи! — висела, как окровавленная плеть, и кровь лилась фонтаном из развороченного страшного плеча.

Что делать? Закрыть кровь! Чем? Не закрывается. Течет!

Тогда разведчик Иван Кармалюк бросился бежать. Мозг его заработал с бешеным жаром.

«Побегу, — думает, — пока не вышла кровь, чтобы не упасть, чтоб только не упасть, нет! Приколют, проклятые. О, проклятые, проклятые, будьте вы прокляты!..»

Кармалюк бежал, дрожа от яростного гнева. Казалось, попадись по дороге враг — зубами без рук разорвал бы на месте.

Выбежав из опасной зоны, он как-то вдруг потерял зло и остановился. Остановился, затосковал и растаял, словно воск на солнце. И упал.

И показалось вдруг Ивану, что упал он, по странной случайности, не на землю, а в какую-то словно воду, и вода понесла его быстро-быстро, кружа между деревьями, облаками и селами, и вдруг принесла его домой, как в сказке. Отец, мать, дед, баба, сестры, да все такие добрые-добрые, любящие.

«Иван... Это ты, наш Иван?»

И родная хата на краю села, и стезка в саду возле хаты. А по стезке бежит она, самая дорогая, — Галина.

«Иван, Иван вернулся? Иваночко!»

«Галю!»

Кармалюк открыл глаза.

— Теряю чувство, — прошептал он и испугался.

Иван Кармалюк был обыкновенным рядовым бойцом, и особенных геройств за ним не числилось, хотя он и убил уже старательно и точно с полдесятка врагов, не считая стрельбы по фашистам. Во внешности его тоже не было ничего героического.

Был он среднего роста, стройный сероокий юноша, родом из прекрасной Подолии. Лет ему было двадцать пять. Он был родным сыном величественной эпохи — Великой Октябрьской революции, эпохи Великих Работ и Великой Отечественной войны.

Он был одним из многих миллионов советских юношей, у которых за день до войны все помыслы лежали в мирном труде.

Он не состязался в силе и ловкости ни на стрельбищах, ни на боксерских рингах. Он состязался там, где доблестью труда добывали себе славу, — на Сельскохозяйственной выставке в Москве, на прекраснейшей и самой возвышенной выставке человеческих достоинств. Там он получил золотую медаль. Он привел туда такого фантастического быка Мыну, какой еще не снился, сколько мир стоит, ни одной корове. Он был подольский колхозный пастух.

— Теряю чувство! — сказал он тревожно и громко, словно желая разбудить себя, остановить быстротечную реку. — Стой, стой! Не сдамся.

Кармалюк подполз к дереву и крепко притиснул рану к стволу. Зажав таким образом разорванную артерию, он так сцепил зубы, и так широко открыл глаза, и так пожелал не закрывать их, что санитары, подбирая утром павших бойцов, подумали, что перед ними труп с открытыми, застывшими очами.

— Живу... — прошептал Кармалюк.

В лице его не было уже ни кровинки.



Битва гремела день и ночь.

В обитой простынями сельской хате хирург Микола Д. работал без перерыва вот уже несколько дней.

Хата содрогалась от грохота и взрывов бомб. У хаты лежали прямо на земле три очереди раненых. Они расположились по характеру ранений — головные, полостные и прочие.

Хирург устал. Для поддержания сил и экономии времени его кормили и поили тут же, у операционного стола. Он был очень здоров от природы, но тут уж и у него не хватало сил. Он валился с ног от усталости и заскучал. Всякое дело имеет свою скуку. Ему не нравились раненые, и не нравилось как раз то, чем он всегда восхищался.

«Черт возьми! Откуда столько терпенья? Четырнадцать месяцев режу, и хоть бы тебе один закричал, начал проклинать, ненавидеть смерть, ругать ее, скуку! Нет! Молчат, покорные», — думал он устало, в тысячный раз сшивая человека из рваного кровавого тряпья.

— Следующий!

Перед хирургом лежал Кармалюк.

С тех пор как его ранили, прошло три дня. И с каждым 109 днем ему становилось все хуже. Жар в его лишенном крови

теле перевалил давно уже за сорок первый градус. Страшная газовая гангрена поразила его руку. Рука лежала рядом с ним, распухшая до огромных размеров, темная, в багровосиних пятнах и пузырях и нестерпимо смрадная. Три дня не сводил с нее глаз Кармалюк. Он смотрел на нее, как на смертельного врага. И молчал.

Хирург великолепно лечил газовую гангрену новым своим методом, но руку Кармалюка спасти было уже нельзя.

— Поздно, — сказал он устало своему помощнику. — Придется отрезать руку.

— Режьте скорее! — решительно и быстро сказал вдруг Кармалюк.

Удивленный хирург повернул голову. На него глядели широко раскрытые серые Кармалюковы глаза.

— Режьте скорее! — приказал Кармалюк и даже мотнул головой, словно отбрасывая ненужную руку.



Но не помогла Кармалюку ампутация руки. Не помогла и противогангренозная сыворотка, введенная в организм по особому методу хирурга. Проба переливания крови тоже не помогла ему.

Газовая гангрена не проходила. От плечевого сустава она поползла уже через надплечье к шее. Распухшее плечо представляло собой картину грозную и непереносимую.

Когда его перевезли в госпиталь, он был уже без пульса. Он был безнадежен. Жизнь покидала его. Но он не сдавался. Сознание не оставляло его ни на минуту, и ни одна душа в палате не услышала ни одного его стона. Он молчал, и вся его воля ушла на это напряженное молчаливое сопротивление смерти.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил его прибывший на обход палаты хирург и взял за руку. Пульса почти не было.

— Ничего... Хорошо... Скажите, доктор, жить буду? — прошептал Кармалюк, всматриваясь, казалось, доктору в самую душу.

— Жить? Обязательно, а как же! — сказал хирург свою обычную спасительную ложь и, видя, что Кармалюк уже умирает, что жизни осталось ему лишь несколько минут, отошел к другому раненому, не назначив ему ни перевязки, ни каких-либо иных процедур.

Кармалюк понял, что надежда уходит от него навсегда.

— Стойте... Доктор!

Хирург Д. смущенно оглянулся. Кармалюк прочел все его мысли.

— А перевязка уже не нужна? Га? — спросил он, пылая в огне своей гангрены и обжигая его незабываемым взглядом.

А что сказать хирургу? Что говорить ежедневно хирургам у постелей умирающих? Что?

— Нет, нет... Будешь жить.

И пошел хирург с врачами и милосердными сестрами в перевязочную, а Кармалюк откинулся на подушку и зарыдал.

Вспомнил он свою Подолию, золотую свою страну, свои широкие безмежные поля, сады, богатые стада и своего владельца стад Мыну, и старую Буг-реку, и Галину дорогую свою, с которой он хотел прожить над Бугом жизнь.

— Где ты, Галю, где ты? Подивись на своего Ивана!.. Видишь?

Оглянулся Кармалюк. Кругом — одни только раненые.

— Вот где я! Как далеко... умираю...

Заметался Иван Кармалюк на своем смертном ложе, забился, как подбитая птица. Не умирать, мстить врагам хотелось Кармалюку. Жить!

— Проклятые, о, проклятые! Нет! Понесу я месть на вашу голову хоть в одной руке! Понесу!

Застонал Кармалюк, заскрежетал зубами и умолк.

Обойдя все палаты, хирург зашел в перевязочную и, отдав распоряжение о порядке перевязок, присел у окна в ожидании начала работы.

Утро было облачное, серое. Микола Д. опустил голову на руки и задремал.

Вдруг сильный стук в дверь заставил его вздрогнуть.

Хирург оглянулся — Кармалюк!

Он стоял в дверях в одном белье, в мокрых от крови и гноя бинтах и весь в холодном поту.

— Перевязку!.. — застонал Кармалюк и, вытянув вперед правую руку, двинулся к столу. — Жить хочу! Давайте мне перевязку и все, что полагается!..

Кармалюк шел к операционному столу, бросаясь по комнате, как на палубе корабля в ураганном море.

Пораженный небывалым зрелищем, хирург застыл. Страшен был Кармалюк и великолепен!

— Вы думали, я уже умер? Я живой! — зашатался Кармалюк, ища опоры здоровой рукой. — Я прошу мне перевязку. . Перевязку! Дайте... Жить хочу... Что же вы стоите?

И Кармалюк упал на руки подбежавшему хирургу.

Взволнованный хирург поднял его, как мальчика, и положил на стол.

— Вы думаете, нам удастся его спасти? — спросил его вбежавший ассистент, подавая с привычной точностью и быстротой инструменты.

— Он уже сам себя спас, — сказал хирург звонким голосом. — Держите... Так... Ну держите, черт возьми! Ну!

С хирургом произошло что-то удивительное. Он весь преобразился. Он начал работать весело, с необычной энергией, и, работая, он любовался Кармалюком.

— Ах, вы посмотрите, какой красивый! Какая грудная клетка! А плечо какое, а? — восхищался хирург, обрабатывая

страшную Кармалюкову рану перекисью водорода и накладывая на нее асептическую повязку.

— А ноги какие! А шея! А походка какая! Вы видели, как он вошел? Стройный как бог. Камфару!.. Кофеин!.. Так... Прекрасно. Ах, какой юноша! Вы посмотрите, какие мускулы. Как он вошел!

— Но как же он вошел? Он был лежащий больной... — удивлялась сестра.

— А, что вы в этом понимаете?

— Но откуда он извлек эти силы? У него же не было пульса! — говорила другая.

— У него была воля... Держите!..

— Вы думаете, он будет жить?

— Он будет жить больше нас с вами! Держите... Так... Поверьте мне, он сделал для своей жизни уже во много раз больше, чем мы делаем сейчас... Бинт!

Хирург работал с необычайным вдохновением и любовью. Никогда еще не хотелось ему так страстно спасти человеческую жизнь, как сейчас. Иван лежал перед ним в глубоком обмороке, но его могучая воля к жизни передалась врачу и наполнила его. Он забыл свою усталость, свои бессонные ночи и работал, как после чудного сна и ванны, работал легко и радостно, и солнце, заглянувшее на минуту из-за туч в операционную, словно улыбнулось ему, как обещание счастья. Так сила сопротивления смерти умирающего умножила силу врача, и эту силу врач возвращал больному. Вливши ему еще раз противогангренозную сыворотку и пол-литра крови, он велел дать ему теплого вина и горячего чая и долго согревать его грелками в постели. Постепенно у него начал появляться пульс, порозовели щеки, и Кармалюк открыл глаза.

В серых глазах горел еще тот же вопрос.

Все четверо — и хирург, и ассистент, и сестры — кивнули ему головами и отвернулись в волнении.

Кармалюк посмотрел на хирурга и улыбнулся.

— Вы выиграли генеральное сражение почти без всяких средств для победы, — сказал взволнованно хирург. — Благодарю вас. Вы научили меня жить. Я преклоняюсь перед благородством вашей воли.

Когда Кармалюка вынесли из операционной на койку, ему аплодировала вся палата. Раненые с гордостью смотрели на своего товарища и радостно благодарили его. Им тоже передалась уже его воля к жизни.



Подумайте, братья мои, об этом, и если с кем в бою случится, — все бывает, — решайте тогда на койках победу каждый для себя. Вынимайте тогда из чудесной прадедовской шкатулки драгоценное зелье, корень жизни, и нюхайте его, и грызите, и жуйте его день и ночь — Волю!

Обязательно поможет.

1942, ноябрь

Москва

ОТСТУПНИК

Есть в жизни каждого народа времена, когда никому ничто не прощается, когда всякое добро или зло, содеянное человеком, падает на незримые чаши тончайших весов истории. Это тяжелые времена испытаний, когда народу угрожают разорение, рабство и смерть.

И счастлив тот, кто, перенеся народное горе и потрудившись немало и немало пролив крови на полях сражений, может потом уже сказать себе и миру, что в самую страшную минуту не было у него зерна неправды за душою.

Но горе тому, кто по злобе, ничтожеству, по малости души своей поддастся в роковую минуту слабодушия своим низменным инстинктам и бросит товарищей своих и народ свой во имя мнимого спасения личной жизни, во имя лживых обещаний врага.

Долго и не один раз проклянет он в холодных объятиях врага свое слабодушие, но уже никогда не вернуть ему чистоты своей, не вернуть ему товарищей, не вернуть ему родины.

Отвернется от него гневная отчизна, и забудет его, и отряхнет его, как жалкий прах от своих ног. И погибнет отступник, оплакивая день и час своего позорного падения.

Забудет его мать, забудет отец. Переменят фамилию его братья и дети. И пропал человек, пропал бесследно и позорно для всего и всех на веки вечные.

Вот этого не знал боец Мефодий. Фамилии его мы не напомним. Назовем его Отступник.

«Довольно...» — мрачно подумал он как-то в заставе и оглянулся по сторонам.

— Что ж это я оглядываюсь, как вор? Я ведь еще ничего не подумал, — прошептал он тихо и прислушался. Черная мысль заползла в него, как гадина. — Нет, я подумал. Я уже давно... Ну и что же... Ну и уйду. Старики-то мои дома, у немцев остались, плачут по мне, а тут жизнь на волоске ежедневно... Довольно.

Мефодий еще раз оглянулся и украдкой прочитал немецкую листовку.

— Ну конечно, ждут. Тут же ясно сказано... Ну а товарищи? А, черт их забираи...

Винтовка брошена. Согнувшись в три погибели, побежал с оглядкой вора вперед. Руки вверх.

— Гальт.

— Я ваш. Не стреляйте, ваш. Вот пропуск...

Скомканная бумажка выпала из дрожащих рук Отступника в грязь.

■

На другой день избитый до полусмерти, с огромным синяком под правым глазом, Мефодий Отступник стоял перед немецким лейтенантом в гестапо.

— За что меня ваши солдаты били? За что? — спросил Мефодий и плюнул кровью.

— Солдат только отвечает на вопросы, а не спрашивает, — строго сказал лейтенант и стал рассматривать «личное дело» перебежчика Мефодия Отступника.

— Ты побит, по-видимому, первый раз в жизни, поэтому ты так возбужден. Ничего. У нас это пройдет скоро. Тебя били потому, что ты мало сообщил. А хорошее битие расслабляет. Понял? Мы тебя так били, чтобы ты был мягким и послушным. Ты будешь нашим маленьким шписном, понял? Завтра ты отправишься...

Отступник понял, что он погиб.

— Я не хочу. Я не пойду. Убивайте меня! — закричал Мефодий и схватился за голову. Он решил, что немцы собираются послать его шпионить в Красную Армию.

— Нет, пока не в армию, не бойся, — усмехнулся лейтенант, разгадав его мысли. — Ты поедешь к себе домой, как сказано в листовке, к папе и матушке. Там ты отдохнешь от ужасов войны и будешь работать на нас. Узнаешь, где действуют местные партизаны, — выдашь их нам. Имей в виду, мы тебе не верим, так как ты предал своих. Ты предатель, — значит, тебе придется много и долго стараться зарабатывать наше доверие. Понял? Благодари. Можешь идти. Стой! Что нужно сказать? Хайль Гитлер. Ну? — Офицер встал.

— Хайль Гитлер, — пролепетал Отступник и, шатаясь, повернулся к двери.

— Гальт! Еще раз. — Офицер подошел к Отступнику и поднял кулак.

— Хайль Гитлер! — крикнул Отступник.

— Кругом. Прямо. Я тебя научу ходить, скотина, русские швайн! — рассердился лейтенант.

Мефодий вышел в сени по всем правилам немецкой науки. В сенях стояла несчастная хозяйка хаты и смотрела на

него с невыразимой укоризной. Ее измученные, скорбные глаза, казалось, говорили ему: «Чтоб тебя, проклятый, сыра земля не приняла».



Однако на другой день ему не удалось уехать в деревню к отцу и матери. Долго держали его немцы в холодном карцере вместе с пятнадцатью пленными, где ему пришлось самому притвориться пленным, чтобы не быть разорванными бойцами. Долго еще водили его заполнять анкеты, фотографироваться, долго еще допрашивали. Вывели у него все, о чем говорили военнопленные бойцы, и расстреляли всех пятнадцать человек.

Наконец в один из ясных весенних вечеров немецкие конвоиры выбросили его из теплушки на знакомой полуразрушенной станции. До родного местечка осталось совсем близко, километров двенадцать. «Ну, наконец-то я дома. Побили немного — забудется. А шпионаж? Какой там дома шпионаж! Разговоры одни. Такая глушь...» — успокаивал себя в сотый раз Отступник.

Все же беспокойство не покидало его. Насборот, с каждым километром пути оно возрастало в нем и давило его днем и ночью. Многое увидел он уже из теплушки. Он видел, как увозилось в Германию все, что можно было увезти. Но и это было еще не все. В Германию уходили эшелоны с советскими людьми, с молодыми невольниками и невольницами. Не одну ночь слышал он душераздирающий плач в соседних эшелонах на разных станциях.

Вот еще один эшелон движется со станции. Крики и плач на путях... Вот разгоняют резиновыми палками бедных матерей. Отступник бросился к эшелону.

— Мефодий, Мефодий, спаси нас.

Оглянулся — жена и сестра.

— Родные!

Отступник бросился за уходящим вагоном. Кто-то ударил его резиновой палкой по затылку. Поплыл эшелон перед глазами. Уплыли на запад в немецкие дома терпимости сестра и жена. Промелькнули и исчезли навсегда, словно приснились они ему.

И не бросился вслед за ними Отступник, не разгневалось его сердце, не вспыхнула в нем злоба к врагам. Битый, дал он часовым проверить документы и, получивши пару подзатыльников, молча, согнувшись, обошел станцию, вышел на дорогу и побежал домой как проклятый.

— Я ошибся, я ошибся. Это не они. Не они, не они. Не жена, не сестра, — стонал Отступник в такт своему бегу и оглядывался в жалком отчаянии на темные непаханные поля. Настала ночь.

■

— Кто там? Кто стучит?

— Откройте... Я... Мефодий...

— Сынок! Боже мой! Значит, правда?

Мать не упала на грудь Отступника, не прижалась к нему. Она залилась горькими слезами, отвернувшись от сына.

— Откуда прибыл, защитник наш? Откуда прилетела единственная наша надежда? — слышался знакомый голос отца. Отец смотрел на вошедшего, грозный гнев обуял его старое, измученное сердце.

— Из армии, — сказал Отступник. — Здравствуй, отец.

— Подожди здороваться. Где армия?

Отступник оглядел комнату. В потемках он различил чело-
век шесть знакомых. Они смотрели на него недобрыми глазами. Что ж это такое?

— Где Красная Армия? Скажи, защитник наш, — спросил отец.

— Там.

— Попался в плен?

— Да. Схватили в бою.

— Раненый? Где раны?

— Зажили.

— Врешь. Верные люди сказали мне все, — здесь уже наведены справки о перебежчике Мефодии. Уже две недели не выхожу я из дома от стыда. Все думаю, действительно ли породили мы иуду, — сказал отец, и каждое слово его падало на Отступника камнем. Он молчал. — Подойди сюда. Дай мне ближе увидеть твой позор.

Убежать... Нет... Дверь закрыта, и у двери уже двое. Отступник содрогнулся и обессилел. Воцарилась жуткая тишина. Журился сверчок под печкой, да несчастливая мать тихо оплакивала в сенях своего старшего сына. «Все известно, и все решено», — содрогнулся Отступник.

— Ну что ж, товарищи, помогите совершить закон, — как бы в ответ мыслям Мефодия сказал отец, обращаясь к присутствующим, и тяжело вздохнул. — Говорить нечего, и время не ждет.

Отец поднялся и подошел к Отступнику.

— Проклинаю изменника и предателя Родины, моего сына Мефодия, — задрожал в темноте голос старика.

В сенях усилился скорбный материнский плач.

— Мать, прокляни своего сына! — сказал отец.

Голос его звучал в темноте глухо, как осенний гром. На мгновение стало тихо, как всегда перед чем-то необычайным и грозным.

Вдруг высокий материнский плач разодрал ночную тишину. Мать стояла на пороге. Ее голос, вся ее измученная материнская душа словно утопала в тоске и страдании. Но гнев поборол страдание.

— Проклинаю и отрекаюсь! — вырвались из плача материнские слова. — Унеси тебя из хаты дымом, со двора ветром, из души вечным проклятием!.. Простите, люди добрые!

Мать открыла дверь настежь и застыла. Она стала каменной.

— Пора, — сказал отец, — сам ты предался врагу, сам и умри. На площади висят четыре партизана. Там и твой брат Никита... Никиту снимешь с петли и вешайся в присутствии народного суда. Пойдем...

Но не судилось Отступнику такое скорое счастье. В невыносимых душевных муках, ведомый под руки неумолимыми судьями, добрался он в темную ночь до виселицы. Уже снял он труп несчастного мальчика Никиты, уже поднялся он было к петле среди грозного молчания, но в самую последнюю секунду не выдержала его ничтожная душа, и вдруг уснувшее поработанное село огласилось его нечеловеческим криком.

Загремели выстрелы. Бросились к виселице враги, ожидавшие событий в эту ночь. Они знали о приходе Отступника. Но не дрогнули партизаны. Долго и страшно бились они с поработителями, многих убили, остальных обратили в бегство.

Тут и попробовал было Отступник вырваться из отцовских объятий. Уже занес было над отцом свою предательскую руку, но сильный партизанский удар по затылку опрокинул его и лишил сознания.

Очнулся Отступник лишь утром в лесу, на горе, за яром. Оглянулся — партизаны. Отец и мать были тут же. Брат Никита лежал у дерева с широко раскрытыми серыми глазами, словно удивляясь своей ранней смерти. Страшный след немецкой петли застыл на его раскрытой шее.

— Встать! — приказал партизан.

Отступник встал.

Он смотрел на отца, мать и брата, и холодный, предсмертный пот покрыл его дрожащее тело.

Партизаны подняли оружие.

— Я сам... — Отец подошел к нему с немецкой винтовкой. Отступник покатился в яр с пробитым черепом. Долго стоял отец в горестном раздумье. Потом похоронили Никиту.

— Прощайте, товарищи. Уходите из этого страшного места и будьте счастливы. И мы пойдем со старухой...

Ушли старики, унесли на старческих своих плечах огромное бремя печали.

Ушли партизаны в леса. А в глубоком яру остался догнивать не принятый землей Отступник.

Всходило солнце...

1942

Юго-Западный фронт

СТОЙ, СМЕРТЬ, ОСТАНОВИСЬ!

Встаньте, бойцы и командиры! Обнажите головы. Поговорим сегодня о том, как боролся со смертью изумительный русский юноша, капитан воздушных морей Виктор Гусаров, и как он победил смерть.

Сто раз он вылетал с родных аэродромов в бой. Сто боевых вылетов! Сто ураганов в груди! Сто вулканов ненависти!

С каким волнением впивались в небеса на запад его боевые друзья! Но всегда, из всех бурь, из дождей осколков и пуль приводил он, Гусаров, свою шестерку с победой и улыбался потом, как большое дитя.

Кто же он был? Счастливчик, которому выпало на долю такое везение? Удачник?

Нет!

Только за последние 13 вылетов собственноручно сбил он 6 воздушных пиратов.

Он был воин. Он был бесстрашен, смел и горячо любил свою родину. Он был трудолюбив, как рабочий, и знал в совершенстве свое трудное боевое ремесло.

Он не был тщеславен и личен. Он не скрывал своих боевых тактических секретов, приобретенных опытом борьбы. Он обучал своих товарищей тактике воздушного боя со всей страстностью своей натуры.

Ему хотелось как бы раздвоиться, расшестериться, размножиться в своих истребителях, чтобы умножить до предела весь свой гнев к врагу, всю страсть и ненависть и сокрушать его, проклятого, до края.

— Ну, братья! — говорил он недавно перед наступлением. — Начинается наше время. Теперь забудь обо всем на свете. Надо победить! Запомните, друзья: сколько бы их не встретилось, — бой принимаем! Понятно?

— Понятно, товарищ капитан! — отвечали истребители, и гордые желания волновали их молодые сердца.

Заходили шестеркою и против девяток, бились двенадцатого мая и с двадцаткой. Одиннадцать вражеских больших машин наколотили они, потеряв одного человека и две машины.

«Сколько бы их ни было, а победителями выходим мы!» — гордо думали про себя бойцы — истребители врагов.

Разгорались жнива. Пятнадцатого мая Гусаров водил своих орлов в бой каждые 45 минут, возвращаясь на аэродром для заправки и зарядки. Как их ждали в этот день! Скорей! Скорей!

Пошли... Тяжелая стая противника показалась впереди и сбоку. Мгновение, другое, третье. И загорелся неравный смертный бой. Хищники боялись грозной шестерки. Они уже давно знали ее по почерку и не подходили близко. Пользуясь своим огромным количественным превосходством, они

кружили вокруг эскадрильи и поливали ее градом бронебойного свинца.

Но не дрогнули питомцы Гусарова, нет! Долго решетили они противника, уже и патроны на исходе... Нет патронов больше у Виктора Гусарова!

Смертельная вражеская пуля пробила ему шею навылет. Плюнул Гусаров кровью, и закрыл рот, и крепко-крепко сжал зубы. Тогда кровь хлынула из шеи направо и налево двумя струями, как дорогое красное вино из дорогого разбитого сосуда.

И понял Гусаров, что он убит в бою, что он умирает. Ослабели руки, голова опустилась и не слушается, закрылись очи, и мир завертелся в голове, и полетело все куда-то в сверкающую радужную бездну.

Оторвался он от шестерки, как лебедь от стаи. А пара хищников уже набросилась на него, и кружится, и поливает огнем. Сотни пробоин в машине. Уже не служит шасси, не выходит. Смерть...

Гусаров открыл глаза. И вдруг откуда-то из глубины народной его души, от лесов и полей, от песен и широты великой русской природы заговорил в нем голос жизни, заговорила всепокрушающая воля к победе.

— Стой, смерть, остановись! Стой! Дай посадить машину на родную землю, а там уж черт с тобой! — пожелал Гусаров.

И смерть отступила перед Гусаровым.

Благородная воля напряглась в нем, как грозовой заряд необычайной силы. Она заполнила все его существо и держала его нервы, как натянутый могучий лук. Она была равна только его ненависти к врагу и бывшему наслаждению в боях. Он выровнял машину.

— Нет, проклятые! Не возьмете, нет!.. Нет! Нет! Никогда!

— Не хватит у вас пороху тягаться с советским человеком!.. Что, взяли? — задрожал от ненависти Виктор Гусаров и, глядя на пролетающего «хейнкеля», оскалил зубы, через которые просачивалась кровь.

Близко со страшным воем промчался мимо него фашист, и видна была его подлая фашистская гримаса. Град пуль посыпался на Гусарова.

— Подождите немного! Завоете вы скоро на весь мир, да не мотарами уже, а своим подлым предсмертным воем... Гады!..

Черная пелена закрывала Гусарову глаза. Поник Гусаров на руль и, напрягая остатки своей несокрушимой воли, ушел от неприятеля.

Родная земля. Аэродром... Бегут...

— Милые...

Шасси не работает? Не надо. Сядем на живот.

Истребитель тяжело приземлился без шасси, подняв облако пыли.

Бросились к нему товарищи.

Капитан Виктор Гусаров был мертв.



Воины великой советской земли, братья мои! Это был великий человек.

Не плакать хочется над Гусаровым. Хочется говорить о жизни, о ее величественных откровениях среди наших благодарных людей и с благодарностью склонить голову перед юношей, что понес труд боя и поднялся к бессмертию в смертном неравном бою.

Пусть же вечно красуется доблестно наша земля!

Слава победителю!

26 мая 1942 г.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Историю эту хочется рассказать самыми драгоценными словами, что даются человеку, как отметины счастья, в редкие, неповторимые минуты.

Хочется каждое слово омыть в украинской кринице, где дивчина воду брала, и поставить слова чистыми рядами, чтоб незабываемое играло в них, как солнце в праздник, и радовало людские сердца в великое и трудное время.

Хотелось бы вышить слова, как червонные цветы на холдных рушниках, и развесить рушники в каждой хате, чтобы кто из них ни взглянул, с какой стороны ни подошел, чтоб они оставались всегда непорочными, как говорила когда-то о себе моя скорбная мать.

Где они?

Ой, выйду я на высокую гору и погляжу на запад, на
127 Украину. Посмотрю на рассеченное прожекторами небо,

перечту знакомые звезды. Припомню годы молодые, когда не топтал я еще земли, а словно плавал над ней, когда думал осчастливить мир прекрасными делами, как и всякий юнак, и мечтал о своей любимой, слагая слова, а коснуться не смел.

Много ветров прошумело над головой. Уже и голова седая. И не летаю уже, и близко как будто земля, и видеть стал далеко.

Где ты, моя крылатая юность? Прилети ко мне хоть на час. Приплыви ко мне в гости весенней водой по Десне, принеси те слова. Дай расскажу я про дивчину Олесю, и только. И плыви тогда себе вслед за водою, плыви и не возвращайся уже никогда, а я порадуюсь за Олесю, а может, и заплачу.

Рвутся бомбы. Вечереет.

В кровавом куреве, в дыму, словно навеки, заходит солнце. Горят жита на много километров, и яровые много дней уже топчутся машинами и миллионами бездомных коней и коров. Громят бомбардировщики стада. Визжат визгом раненые кони. Ревут быки от запахов кровавых и гибнут тысячами от ящура и сапа. Орденоноски гонят тяжелых племенных коров и плачутся над ними по дорогам с малыми детьми. Хромают овцы. Пыль до небес на сумрачных путях...

Уходили на восток Украины сыны.

Плыли убитые фашисты по Десне, без числа и краю, падали в кусты парашютисты с неба. И всюду плач и расставанье.

— Прощайте, мамо... прощайте.

— Прощайте!

— Счастливо... Ой, счастливо!

Возле холодной криницы на краю села, словно в песне, под вербою у старой хаты стояла дивчина Олеся, смутна и тиха, как и все дивчата. Она уже давно раздала бойцам, что было можно. А теперь весь день поила проходящих из ведра

и уже не плакала. Недоставало слез. Повысыхали и посветлели очи, припухли губы, а под глазами легли смутные тени и преждевременная морщина меж бровей на челе.

«Что ждет меня? Что ждет красу мою?» — думала она уже вторую неделю, глядя на дорогу.

Сначала двигались запыленные грузовики с различными вещами. В грузовиках поверх вещей сидело множество молчаливых женщин из далеких мест. Тогда еще над ними все смеялись. Покойная Олесина мать еще ругалась и плевала им вслед — чтоб им добра не было. А потом загудели в небе страшные самолеты, и загремела, запылала вся Украина и двинулась на восток. Потом издалека, из-за Днепра, потянулись дорогами, житами, яриною огромные колхозные стада. И началось ревище.

Уже давно погнали из села мужчин и хлопцев. Уже некоторые вернулись по домам и пьют тайком горилку по коморам, и плачутся, и матюкают все на свете, кляня свою несчастную судьбу.

Страшно Олесе. Такого страха еще не знала она за все свои девятнадцать лет, такого еще не было никогда, с тех пор как мир стоит.

— Пропали мы, несчастные, пропали! Идет наша смерть, — плакала в голос тетка Мотря. — И ты пропадешь, сиротинка моя, и переведется навеки весь наш род.

Олеся в слезы.

Но то, что случилось в последние три дня, совсем придавило ее: армия стала отходить по дороге, усталая, скорбная, молчаливая. Потом запылали поля. Над армией глумились бомбардировщики. Они падали стремглав из облаков и разгоняли людей, как птиц, и вдавливали их в землю на долгие часы.

Олесе казалось, что настал конец света, которым пугала ее в детстве покойная бабка.

Какие-то неведомые пастухи раздавали селянам овец. Продавали бойцам за бесценок сало и мясо, а то и так раздавали бабы и молодичицы. Никто уже ничего не берег, и никому ничего не было жалко. Раздали колхозный инвентарь и зерно. Уже не было правления колхоза.

Все распадалось.

Разрывались как будто все связи жизни.

Люди перестали работать...

Олеся смотрела на дорогу. Она не была заурядной дивчиной. Она была красива и опрятна. Олеся гордилась вся округа. Бывало, после работы, вечерами, она, как птица, ну так же много пела возле хаты на все село, так голосно и так прекрасно, как, верно, и не снилось ни одной припудренной артистке с орденами. А вышивки Олеси висели на стенах под стеклом в европейских музеях — в Лондоне в музее Альберт-Виктория, в Париже, в Мюнхене и Нью-Йорке, хотя она об этом и не знала. Учила ее покойная мать всему. Была Олеся тонкой, одаренной натурой, тактичной, доброй, работницей и безупречно воспитанной хорошим, честным родом. Легкомысленные хлопцы немного стеснялись Олеси, считая ее гордой и неприступной.

Пили бойцы воду и мрачно проходили дальше. Она уже ни о чем не спрашивала их. Она жадно вглядывалась в каждое лицо и в каждых глазах читала печаль. Огромное, гораздо большее, чем может вместить людская душа, горе упало на народ, придушило его, погнало.

— Будь здорова, дивчина. Будь счастлива! — сказали ей трое усталых артиллеристов и пошли от криницы. На Олеся нахлынула вдруг волна такой острой, болезненной жалости к себе, что у нее нестерпимо защемило в горле. Она оглянулась. Людей стало меньше... Лишь кое-где человек...

«Последние идут, — подумала Олеся. — Неужели последние?»

И решилась она на шаг не слыханный, не виданный ни в её селе, ни во всем её народе. На поступок необычный, от одной мысли о котором у неё застыло и остановилось сердце. На поступок грозный, какой подсказало ей грозное и необычайное время. Что бросило её на этот поступок? Что натолкнуло её?

Глубокий инстинкт рода, подсознательная мудрость, что приходит людям на помощь в роковые часы, когда разум холодеет и не успевает осознать опасность, и спросить некого, и грозный час летит лавиною с горы.

К Олесе подошел один из последних бойцов, танкист Василь Нечай, из-под самого Каменца, и жадно припал к ведру. Был он хороший кряжистый юнак. Одежда в пыли. На рукаве и на спине прогорела сорочка в пожарах. Темные здоровые руки, ручьями пот на шее и висках и та же напряженная на лбу не по летам морщина.

— Спасибо, дивчина. Прощай, — промолвил он, отрываясь от ведра.

— Счастливый путь!.. Пстой! Слушай! — сказала Олеся тихо, смотря на танкиста глубокими печальными глазами. — Я тебя о чем-то попрошу...

— Меня? Что меня просить? — взглянул на неё танкист, и необычайный взгляд Олеси привлек его внимание.

— Слушай, — сказала Олеся, — переночуй со мной. Уже наступает ночь... Если можно, слышишь?

Она поставила ведро и подошла к нему.

— Я дивчина. Я знаю, придут немцы завтра или послезавтра, замучат меня, надругаются надо мной. Я так боюсь этого. Прошу тебя... пусть будешь ты... Переночуй со мной...

С последними словами Олесин голос затрепетал и словно погас.

— Я не могу взять тебя, — сказал Нечай открыто и честно. — Я в танке горел под бомбами вчера. Я не герой.

— Ты наш...

— Я отступаю... Бегу... Я покидаю тебя. Пойми мой стыд. Я не герой.

— Ты несчастный... и я несчастная. Пойми ж и ты меня. Смотри, что делается. Я хочу вспоминать всю жизнь тебя, а не тех мертвяков, что уже плывут по Десне. Останься, правда.

Олеся смотрела на него с таким доверием, с такою болючею мольбой, что он умолк и не сводил с нее глаз. Он смотрел на нее, чужую, неизвестную, случайную, чтобы никогда уже потом ни на одну минуту, нигде не забыть ее, чтобы понести ее, эту дивчину, в своем сердце через все бои, через все огни.

— Ну что же? Ну, добре...

— Вот моя хата.

— А где твои родные? — вдруг вспомнил он.

— Батяка уже давно нет, а мать недавно, на той неделе, убита с самолета в огороде... и две сестры. Я одна осталась.

Они вошли в маленькую чистую хату, и, когда за ними закрылась дверь, он только тогда вдруг как-то почувствовал, что они одни, сами, только вдвоем, отдельные от всего мира. Это почувствовала и она. Какую-то минуту они стояли в полумраке хаты друг перед другом молча, не зная, куда ступить. Это были невинные, нетронутые оба.

В хате пахло старыми образами, полынью, мятой, вялым лепехом и еще чем-то душистым и вкусным.

— Сядь, посиди за моим столом, — тихо сказала Олеся и взяла его обеими руками за руку. — Есть хочешь? Ну хоть немного, прошу тебя... Может, помоешься с дороги, помойся.

Василь скинул сорочку и стал мыться над корытом. Олеся поливала ему холодную воду на руки, потом на голову. Он закрыл глаза. Он чувствовал, как с него сплывала дорожная пыль и пот. Ему было приятно, а когда Олеся вылила кружку

воды ему на спину, он чуть было не заржал от щекотки и радости, но застыдился.

Она подала ему чистое полотенце. Потом он разулся и, добре помыв ноги, присел на скамейку к столу. Какой-то волнующий стыд все же сковывал и не покидал его, а ее — как будто бы нет. Она и стыдилась и нет. Она ходила по хате, приносила ему на стол миски с едой. Она словно выполняла свой, одной лишь ей начертанный закон.

Они что-то ели вдвоем и избегали угадывать желание в глазах друг у друга. Да и было ли оно? Они говорили о том о сем, стесняясь молчания. Изредка, когда обрывалась нить разговора, они встречались глазами, и тогда они переставали дышать и жевать пищу. Они точно каменели оба, всматриваясь один в другого до дна. А когда вот так им стало нечем однажды дышать, Олеся застонала вся и прижала ладони к груди.

— Ой, боже мой!.. Что же это будет с нами?

Когда в хате стемнело совсем, она отважилась первая. Подошла к постели и долго-долго молча стлала ее. Она вынимала из материнского сундука чистые, новые рядна, наволочки и полотенца. Положила две подушки рядом, задумавшись на миг, и принесла цветов и трав из огорода.

Не спевали дружки. Никто не сеял на Олесину постель ни жита, ни пшеницы. И не шумел в девичьей голове свадебный хмель, не пели веселые свахи лукавых своих сочинений. Сама себе готовила Олеся свадьбу.

Тихо было в хате. Только далеко где-то грохали тяжелые орудия да тархтели в темных небесах чужие самолеты.

— Не гляди на меня, — попросила Олеся и, тяжело вздыхая, надела новую сорочку. Василь слышал, как стучало его сердце.

— Как у меня бьется сердце..

— И у меня, — сказала тихо Олеся. — Ой... Иди сюда.

Она стояла возле постели в длинной мереженной сорочке. Месяц освещал ее через окно.

— Как тебя зовут?

— Василь.

— А меня Олеся... Дай руку.

Она прижала его руку к своему сердцу.

— Я никогда тебя не забуду, — сказала она грустно и строго и поцеловала Василя в щеку коротким, холодным, словно детским, поцелуем. — Скажи и ты эти слова.

Василь повторил слова и сам не узнал своего голоса, такой он стал низкий и необычный. Василь прозвучал весь, всем своим существом, как колокол.

Вдруг задребезжали стекла. Низко над самой хатой взревела страшным ревом большая стая вражьих самолетов. Загремели бомбы на дороге за селом.

— Прощайте! — доносился откуда-то издалека голос парубка.

— Ой, деточки мои, деточки... — жалобно голосила над шляхом разлука.

Они долго лежали молча, прислушиваясь невольно к ночным крикам. Потом Олеся рассказала Василью, что это плачет ее тетка Мотря, у которой взяли в армию уже четверых сыновей.

— А это уже пятый прощается, Иван, последний.

— Так... — вздохнул Василь. — Как ты хорошо пахнешь мятой.

— А ты, когда дышишь, пахнешь огуречным листом, огурцами.

— И ты...

— И ты, — прошептала Олеся.

Они всматривались один в другого широко раскрытыми глазами и за всю ночь так и не сомкнули их. Понемногу в них улеглась несмелость. Они находили друг в друге что-то чудное и неожиданное, какие-то чарующие откровения. Про-

шла неуверенность и еще что-то неназываемое. Каждый из них чувствовал в себе радостную молодую силу и гордость обладания и благодарности.

Иногда им казалось, что они знают друг друга с самой детской поры, уже давно-давно, и счастливый покой охватывал их обоих. То какое-нибудь случайное движение внезапно напоминало им всю трагическую неожиданность встречи, и тогда новизна начинала снова волновать их груди среди ночного людского плача, рева быков и завывания псов.

— Как тебя зовут, Василь?

— Так.

— Василь... Василек. А я Олеся. Поцелуй меня, Василику. Скажи мне еще раз, что я хороша. Я такая счастливая.

— А отчего ты плачешь?

— Нет, я не плачу. Мне уже не страшно. Мне так хорошо.

— Родная моя! Что ж ты плачешь?

— Это ж ты плачешь, Василику. Ты не забудешь меня?

— Милая моя!

— Милый мой!

— Хорошая моя!

— Хороший мой! Иди ко мне!

Она снова тихо смеялась от любовной утехи, и печали будто умолкли и заснули в темных углах хаты.

Они верили и не верили, что они уже муж и жена.

— Знаешь, Василику, — шептала Олеся, наклоняясь над его лицом, — если б мы жили, если б случилось так, что мы будем жить вдвоем, мы никогда во всю жизнь не скажем друг другу ни одного плохого слова. Правда?

— Правда.

— Мы никогда не подумаем злого, правда?

— Правда.

— Правда?

— Правда.

— Мы будем так дружно жить, как никто на свете.
Правда?

— Так.

— Ты не забудешь меня?

— Нет.

— Ты найдешь, отвоюешь меня?

— Найду, отвоюю тебя.

— Иди ко мне, иди.

Словно сошлись столетия простой народной любви, что сеет детей на нашей плодородной земле. Сошлись столетия горьких прощаний украинской дивчины-жены, воспетой в горестных песнях народа.

Начало светать. Помягчели тени в хате, и разлука уже протянула глаза где-то там, в сенях за дверьми.

— Говори мне, Василику, еще красивые слова, говори, — припадала Олеся к плечу Василия. — Уже кончается ночь. Уже скоро прощаться надо.

— Слушай, Олеся...

Долго говорили они на рассвете. Они повенчали свою простую любовь духовным единением необычайной силы и сами удивлялись ему. Они словно выросли оба за эту ночь, и души их поднялись впервые к высоким вершинам проникновенности и понимания. А неумолимая неизбежность разлуки освещала особенным светом их чувства и придавала им особую красоту.

Перед ними в эту ночь будто раскрылось новое видение людей, печальное, но ясное и отчетливое, и ясными и четкими были его, Василевы, слова, каких он никогда и не думал в себе найти.

— Нет, я не забуду тебя, Олеся, моя дорогая жена. Не забуду никогда ни тебя, ни твоей хаты, ни криницы под вербою, ни твоего села. Я покидаю тебя на нашей земле. Но что наша земля, что наша жизнь без тебя?

— Василь... — простонала Олеся.

— Прощай. Горит моя душа.
— Уже день наступает,— оглянулась Олеся в тревоге.
— Олесю, что же ты будешь думать обо мне?
— Я спасаю свой род. Я попросила тебя дать мне надежду. Я буду ждать... Не опоздай, Василь.
— Нет. Я вернусь к тебе. Я вернусь к тебе с армией, закаленный и верный. Я пробьюсь к тебе через все пожары, и доты, и мины, и все на свете. Какая бы ты ни была, я вернусь к тебе. Пусть будешь ты черная и больная, покалеченная врагом, пусть поседеешь ты от горя и слез и побелеет твоя коса, пусть будешь ты рыть против меня немецкие рвы и плести немецкую колючую проволоку против меня и сеять для врага хлеб под плетями,— ты всегда останешься для меня прекрасной, как и сейчас прекрасна ты. И повысохнут руки и языки у всех, кто попробует подумать про тебя недобро!

Если же в отчаянии ты станешь проклинать меня и всех, кто покинули тебя и мертвыми не пали у Днепра, простил я тебя заранее— такая наша доля,— ты меня прости,— сказал взволнованно Василь, удивляясь своим необыкновенным словам.

— Прощай,— ответила Олеся.— Только найди меня.

— Найду,— сказал Василь, прижимая ее к себе своими сильными, большими руками.— Если ж так станет, что не найду,— может, убью меня, Олесю, или взорвусь я в своем танке где-нибудь на фугасах и разлечусь клочьями по полю, так что и костей моих не соберут для могилы,— я все равно вернусь к тебе. Я памятником стану в твоём сердце из бронзы, там вот, за окном! Я понял: дорога назад к тебе одна, один только путь. Путь героизма. Нужно быть героем и ненавидеть врага... Олесю,— сказал Василь, немного подумав,— какой же непотребно млявый вошел я вчера в твою хату.

— Я тебя простила.

— Вижу. По великости женской души своей. Ты, Олеся, открыла мне мир.

— Иди ко мне, бедненький, иди, иди...

Спали они или нет? Иногда они оба впадали в нечто похожее на сон, но то был не сон. Они не переставали ощущать один другого и словно летели в объятиях над синим морем и слышали звучания далеких звонов и весенних потоков.

Они разлучились рано-рано утром до восхода солнца в холодной росе у перелёза за садом.

Не побежала Олеся за Василем в далекие края. Не было у нее ни чемоданов, ни компаса — ничего для дороги. У нее была хата, родная земля, и цветы, и дорогие могилы отцов.

Василь скоро исчез за горою в побитых хлебах.

Он шел быстро и легко, с ясной головой. Он словно летел, не слыша под собой земли, созревший, готовый на подвиги величайшие. Он понял, что надо спешить, надо забыть обо всем на свете во имя жизни, во имя Родины, надо биться с врагом смертным боем.

А Олеся — Ярославна выплакала на перелёзе свою многовековую песню и совершенно опустошенная пошла в хату. И стала она каменной.

Не слышала она, как громили село из орудий, как с боем отходили последние бойцы и вползала в село немецкая неволя.

— У меня каменная душа. Со мной теперь можно делать что угодно, — сказала она тетке Мотре, которая пришла к ней утром потужить.

Олеся сидела неподвижно и смотрела на подушку, на след Васильевой головы.

Апрель — май 1942 г.

НЕИЗВЕСТНЫЙ

Как же меня звали? Ну как же это меня звали? Тут, на берегу, у самой дороги, было ж написано мое имя, такое простое украинское имя, карандашом на куске фанеры, к столбику прибитом. Да кто-то сломал и кинул на дорогу. Как жалко мне, что теперь уже никто меня и не вспомнит, никто не узнает, что это я спас тут свой батальон. Моя работа. Такой я был горячий и любезный человек. Ах, как же это меня звали? Так жалко мне. Может, новому мосту дали бы плотники мое имя. Может, веселые дивчата, проходя тем мостом с песнями, сложили бы песню и про меня.

Иль сиротина затужила бы на мосту, увидев могилу своего отца, что спас батальон в мировую войну.

ФЕДОРЧЕНКО

Федорченко звали меня, товарищи, Федорченко. Был я капитаном в начале мировой войны, и нельзя было, никак нельзя было мне отступать, такой я был гордый. Где я ни встречался с врагом, я побеждал его, потому что храбрее был и воевал я лучше. Да на флангах у меня, говорили, бегут: и справа бегут, и слева. И я сгорал, отходя, от гнева и отчаянья. И стыд палил меня огнем и пригибал к земле, вот какой я был гордый. Федорченко звали меня, капитан Федорченко, что не мог уже больше по Украине брести на восток и под Каховкой, пулемет в руки взявши и связку гранат, пошел один по смерть назад в поле, чтоб не видела бесталанная вдова Украина затылка моего... Вперед, вперед, Федорченко!.. И я убил их, встретив целый полк один, со-

тен три, а то и четыреста, и сам упал на трупы открыто, и умер от двадцати, а может, и более ран. Бился я часа четыре, был полон горьким счастьем боя в край. Всю свою жизнь, весь жар, весь гнев, любовь, надежды — все, что я в сердце нес своим, все расстрелял, все, что имел, до нитки. Федорченко звали меня, товарищи, капитан Федорченко Иван.

14. I. 43

В ПОЛЕ

Гей, во поле родила меня мати моя, во поле. В поле я на ноги встал, смеялся и плакал на колючей стерне и спал под копною на жите.

В поле упал я, идя в атаку, и, непогребенный, гнию, вгрузая медленно в землю, ибо есмь земля.

Уже черен я, прибитый дождями и пылью, лежу неприбранный, наполовину воссоединясь с землею, как темный барельеф великой години.

Одежда моя уж истлела, ремень прогнил, и ржой покрылось оружие. И лишь медали за оборону Сталинграда, Одессы, Киева блещут на солнце над сердцем моим, как знаки эпохи. Да зубы смеются. Ой, в поле родила меня мати моя. В поле творил я хлеб для человека. В поле лежу. Улыбаясь в вечность,

БРОНЗА

- **М**ама!
— Доченька! Мария!
— Мамочка!
— Жива? Или я сплю, Мария?
— Я, мама, родная моя!
— Вернулась? Люди!
— Здравствуйте, мама! А Павел? Не слышали про Павла?
Не вернулся Павел?
— Дома.
— Павел? Дома? Где он? Павел!
— Стоит на площади.
— На площади? Почему? Зачем?
— Тебя выглядывает. Разве не видала?
— Не встретила. Я шла низом. Боже! Ну как он? Не ра-
143 неный?

— Целый.

— На войне был?

— Воевал, доченька.

— Кем был?

— Генералом.

— Генералом? Что вы, мама?

— Или героем. Что-то там говорили. Разве я знаю?

— Я бегу.

— Иди тихо.

— Не пугайте. Мама?!

— Потихоньку иди, детка. Набирайся силы.

— Что вы, мамочка. Иду уже. Ой, как бьется сердце. Павел! Что с ним, говорите же!

— Молчит он. Думает все и молчит.

— Ой, спасите. Страшно мне, мама!

Не чуя земли под ногами, ничего кругом не видя, быстро, быстро пошла, потом побежала на сельскую площадь и тяжело и тревожно вздыхала в ночи:

Ой, пойду я не берегом, лугом,

Ой, пойду я не берегом, лугом,

Да не встречусь ли с несуженым другом.

Здравствуй, здравствуй, муж, несуженый друг!..

— Нет, не так... Что это я? Нет... Ой, пойду я, молода, не берегом, лугом. Нет. Иду я, молода, берегом, лугом... Нет, не берегом, лугом. Низом, долиною.

Ой, иду я, молода, низом, долиною, да не встречусь ли с мужем-дружиною. Здравствуй, здравствуй, муж, несуженый друг! Ай, ну что я говорю! Это же песня. Это же песня. Зачем, зачем она?

Я скажу свои слова. Таких слов, как у меня, нет ни в одной песне. Обо всем не скажешь, знаю, но я все скажу, всю печаль, всю муку, всю тоску мою.

Скажу, здравствуй, здравствуй, муж!..

Да не муж ведь, друг!

Павел!.. Где же он?

Почему его не видно?

Павел! Отзовись!

Пришла из неволи твоя несчастная Мария-пленница. Принесла тебе позор и муку — чужого младенца от неизвестного отца. Убей нас обоих или пожалей, если ты герой. Где ты, Павел? Почему так темно в глазах?

Здравствуй, здравствуй, муж, несуженый друг!.. Что со мной? Где я? Павел?

Не отозвался Павел, хоть и был близко. Когда она, белая как мел, подошла к нему, он даже не взглянул на нее.

Он был бронзовым памятником. Он принадлежал уже не ей, а всему миру, этот Павел.

Она положила у его подножия ребенка, а сама обняла его, прижалась к бронзовой холодной груди и застыла, как бронза.

— Где ты, смерть? Где ты, красавица, моя ласточка? Пожалей меня! Где ты гуляешь с другими, где бродишь, черная моя сестра? Приди, улыбнись мне. Не хочу я жить. Павел, Павел! Что мне осталось на свете? Зачем мне жить?

— Утешься, женщина. Пока молода, выполняй закон. Пусть плачет надо мной материнская старость.

— В чем мой закон? Чем утешусь?

— В трудах, в любви, в детях.

— Где я их найду?

— В добром потоке добрых времен.

— А если там нет их для меня? Ведь нас так много!

— Тогда возвеличь себя страданием.

— Нет. Не хочу. Не могу. Не сумею. Я немощна и мала для страдания. Я не умею думать о великом. Я родилась для обыкновенной жизни. Помоги мне, скажи мне, милый, как побороть страдание? Каким оружием?

— Трудом.

— А еще чем?

— Не знаю. Других путей не знаю. Может, их и нет.

— Правду ли ты говоришь, мой великий, родной мой герой?

— Я не великий и не герой, хотя товарищи меня и заверяли. Но я трудился для отчизны в великий час с великими людьми и потому частицу их бессмертия принял на себя, и встал я, моя милая, бронзовым, холодным на страже поколений. Ты помнишь, ты хорошо помнишь, сам я мало думал о великом, и гозорил я некрасиво и шутил иногда нескладно.

— Ты всегда шутил.

— Я действовал. Я был вечно занят. Мне было некогда до самого конца.

— Тебе было некогда. Знаю.

— Не долюбил тебя.

— Да.

— Не доцеловал.

— Да.

— Иногда и совсем забывал. В походах пил и жалость гнал. Был я суров и зол и часто груб, чтобы не расслабляться под огнем проклятий, криков о пощаде, препятствий... Мой век был век присяги, я выполнял ее под гром и скрежет железа, пока не разорвался однажды на кровавые куски.

— Павел! Мученик.

— Нет. Я страдал одно мгновение. Ты хочешь знать: я полюбил ее.

— Войну?

— Войну. Я ей принадлежал. Я познал восторг и вдохновение битвы и умер в момент самозабвения. Я наступал тогда, и враг бежал передо мной как проклятый, и я был счастлив. Так и передай своим детям — был счастлив.

Подошла старая мать и взяла на руки ребенка.

— Мария.

— Мама. Как я страдаю! — простонала Мария, отрываясь от бронзового мужа.

— Страдай, голубка. Только и есть верного среди всех призраков и человеческих страстей — страдание. Высокие законы, доченька, любовь, честность, верность, и геройство, и доброта человеческая, и человеческая слава, и всякий талант, и все дороги к счастью и радости — все через него. Идем, дитя. Спокойной ночи, сынок.

1.III. 44

ХАТА

Напишу я слово про хату на тысяче верст и за тысячу лет, от давних седых далей и до великих моих времен всемирно-атомной бомбы. На Украине и вне Украины сущую. Белую, с теплой соломенной стрехой, что поросла зеленым бархатным мхом, архитектурную праматерь пристанища людского, незамкнутую, вечно открытую для всех без стука в дверь, без «можно?» и без «войдите!», высоконравственное человеческое жилище. Бедную и светлую, как доброе слово, и простую, точно создали ее не работающие человечьи руки, а сама природа, словно выросла она, как сыроежка в зеленой траве.

Опишу ее неповторимый облик, приветливый и веселый, порой грустный, молодицу и старенькую вдову, приубранную и добрую, закручинившуюся, но никогда не гордую.

В поле, на горе и под горою, на огороде среди цветов весной и летом, среди семян по осени. Семена — в ней и на ней от стрехи до самого долу. Кажется, исчезни она, и запустеет земля, зарастет бурьяном, исчахнет, и мир станет черен от голода и злобы.

Опишу ее внутренний образ. Всё, что в ней есть и чего нет и не было никогда, хоть и могло бы быть. А не было и нет в ней без счета вещей. Нету в ней челяди, нет гайдуков, служающих нет. Нет кабинетов, гостиных, спален, где долго спят, и не было в ней разврата и лени паразитизма. Нету на стенах фамильных портретов, и сокровищ нет в сундуках, и кованые панцири предков не красуются по углам, потому что бились славно лыцари-деды, бедолаги, без панцирей, с открытой, голой грудью. А потом погнило тряпье, истлели клейноды в прах, не осталось и следа на земле.

Не плел в ней козней никто и никогда, чтоб завладеть миром или приневолить соседа, не бывало в ней ни пышных банкетов, ни громких торжественных встреч, не играли органы, не звучали оркестры в ее тесных стенах и никогда не заседали многомудрые дипломаты. Не было в ней, скажем прямо, счастья, не задерживались радости. А было в ней плача и скорби довольно и вдосталь тоски среди семян этих и цветов.

А знала она много разлук и прощаний безутешных. И пела она чаще всего — и так талантливо и вдохновенно, как ни одно жилище на земле, — печаль, и прощанье, и память о далекой старине, когда реки были глубже, рыба крупнее, травы гуще, кони ретивей и сабли острее.

Опишу я покинутую хату. Спокон века покидали ее, и кто покинет, редко вернется. Носило его по свету всеми ветрами, а не то сам, что собака, бегал всю жизнь за чужим возом и, может, вспоминал ее, как счастливое детство, заброшенную свою совесть и речь заброшенную свою. Покидал он в хате

свою речь. И она оставалась там жить, и так почему-то повелось на свете, что вне хаты она вянет, как цветок на дороге.

Люди, что кормят хлебом, молоком и медом других людей, живут в хате на земле, дарованной им уже законом новым на веки вечные, в достодолжное вечное пользование. Они говорят языком хаты и поля. Когда же обстоятельства, среда или случай сунут им под руку портфельчик, хоть завалящий, дешевенький, они бросают хату и меняют речь, потому что с нею неловко заведовать чем-нибудь, портфельчик же велит заведовать усердно и всеочевидно. И только в редкую, чаще всего лихую пору, в пору утраты портфельчиком всемогущества, или принудительного отпуска, или после кораблекрушения, чудом избежав смерти, — вернувшись на время в родную хату, они вспоминают, хоть и кое-как, ее язык, тогда блуд словно сходит с них, и виден тогда стыд и даже страх побитой собаки, что просыпаются теперь в их нетвердых душах.

Опишу, как воевала некогда хата с дворцами западного Ренессанса, с каменными крепостями умных врагов, как легко ее всегда было поджечь, как пылает она долгие века и никак не сгорит, словно неопалимая купина. И люди — сироты тихие, работающие руки, жнецы, косари, молотильщики, пасечники, пастухи, шахтеры, мастера, воины — пылают на своих огнищах жертвенных, посылая всему миру, потомкам своим, сами не зная куда, пылкие свои заветы, под грозный гул искренних и фальшивых проклятий или могильную тишь у своих аутодафе.

Я не славословлю тебя, моя хатонька старая. Не хвастаюсь твоей ободранной правобережной и левобережной стрехой и не горжусь коморою твоей, что отняли у тебя и развеяли по ветру нищие духом, чуждые красоте люди. Я даже забыл уже, что рядом с тобой были хлев и клуня с аистом-черногузом, который приносил тебе каждую весну наивное датское счастье из далеких теплых краев.

Пусть не попрекают меня враги, холодные душой и лживые, что я превозношу, иль прославляю тебя, иль ставлю над всеми жилищами мира. Я прощаюсь с тобою. Я говорю тебе — сгинь с моей земли. Пусть тебя больше не будет. Обернись в хоромы, накройся железом, красуйся широкими окнами, вырасти, поднимись над травами, над хлебами и над садами.

Расти вверх и вширь. Пусть не прощаются, как прежде, на перелазах, не тужат в каждых сенях и под каждой стрехой вдовы и сироты. Пусть бегают по твоим просторным горницам веселые дети, пусть отдыхают власть в твоих спальнях и любят в счастливой лени твои обитатели. Пусть это уже будешь не ты. Пусть к тебе довлеть и достоинство придут и усядутся в красном углу, чтоб сгнули грусть и нужда из твоих темных кутков и запечков и холодных твоих сеней. Я не восхищаюсь тобой, не возношу тебя до небес перед всем светом.

Нет, я говорю тебе, поседелый: ой, хатонька моя, голу-бонька, спасибо тебе — прощай,

Мне жаль расставаться с тобой. В тебе так славно пахло стариною, рутой-мятой, любистком, и добрая щедрая печь твоя дышала снедью, печеным хлебом, печеными и сушеными яблоками и сухими семенами, травами, кореньями. А в сенях пахло жмыхами, гнилыми грушами и хомутом.

В твои маленькие окна так ласково заглядывало солнце, и подсолнечник, и всякие другие цветы, и травы всякие пахучие. А в красном углу над столом — и темный седой бог в серебряных ризах, и Шевченко, и козак Мамай, и Буденный и Георгий Победоносец на белых и рыжих конях, и еще какие-то люди и боги глядят через стол на печь и на ухваты и на всякого доброго человека, что входит в дверь, уже не скидая в сенях шапки, глядят задумчиво и мирно, точно прекратив навеки тяжкую борьбу, и пребывают в мирном дружестве и согласии, беседуя, когда нет людей в хате, с

домовым, который живет за печью в трубе, и с тихим, во-
все уж квелым украинским чертом, и снятся все они вместе
бабусе, пока не перекрестится она с перепугу во сне, бормо-
ча сквозь дрему: во имя отца и сына...

Нет у меня хаты. Перед усталым взором встает лишь го-
лая печь среди руин под небом, а возле печи плачет Вдова.

Б. IX. 45

КОРЕНЬ ЖИЗНИ

Ой что растёт
Да без корня?
Камень растёт
Да без корня.

Женьшень. Корень жизни. Описать детально все его свойства. Описать тайны его произрастания. Все легенды. Все страсти человеческие, сказки и мечты искателей его. Сила корня целебна, проверена тысячелетиями.

Где же он растёт? Где цветёт и в какую пору? И почему? Что скрыто в той земле, в тех точках земли, какое колдовство? Какие земные эманации?

153 Что давал корень счастливым, которые находили его, которые пользовались им? Для чего дарили его отцы своим

дочерям, выдавая замуж? Почему раненые и больные ползли за ним или ждали его из тайги, как чуда?

Женьшень поддерживал в человеке молодость, силу любовную, ясность мысли, свет в глазах. Он делал человека храбрым и мужественным. Тот, кто пользовался им, не боялся ни холода, ни зноя, никаких тягот. Он любил много, не ведая усталости.

И вот появились люди, низменные душой, что не признавали веры и надежды, что презрели мечту. Запретили ходить по тайге. Чего шататься? Когда можно найти семена, посадить их все на одну грядку, под один стеклянный колпак, пусть растут себе при одной температуре, одинаково политые, под присмотром одного опытного садовника. Построить теплицу!

Нашелся человек, который задумал так осчастливить людей. Зачем искать женьшень, зачем бродить годами на авось? К чему искать, если и так известно, что это и для чего. Надо планомерно подойти к счастью человеческому. Посеять семена в парниках, приставить агронома с электрооблучением и химикалиями.

Так и сделали. Построили. Посеяли. Облучили. Вырастили. Хороший урожай. Поглядели на корень. Похож — ручки, ножки, головка, туловко.

Все вышло. Только сила целебная не далась корню. Неведомо почему получилась петрушка.

Словно человек, лишенный лучей незримого солнца народной почвы и всех ее таинственных соков, что именуются талантом и призванием.

[1950]

**ИЗ
ЗА-
ПИС-
НЫХ
КНИЖЕК**

ПЕЧАТАЕТСЯ НА ОСНОВЕ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
«ДНІПРО» (КИЕВ, 1962). ТЕКСТЫ ЗАНОВО СВЕРЕНЫ С
АВТОГРАФАМИ, НАПИСАННЫМИ ЧАСТЬЮ ПО-УКРАИНСКИ,
ЧАСТЬЮ ПО-РУССКИ.

1944 год

25. I

Я никогда не был полемистом.

Я И до сих пор в диспутах, которых так много было в моей жизни, я нахожу нужные слова не сразу, а уже после боя, в одиночестве, зарывшись головой в подушку. Вот тут я нахожу для своего противника самые сильные аргументы, я одаряю его острейшим словесным оружием, я терпеливо подставляю под его удары свои самые уязвимые места. И тут же разбиваю его в пух и прах такими точными, яркими и меткими попаданиями, что все вокруг дрожит от восторга, все радуется, но — все это уже запоздало и тщетно. Нет уже ни боя, ни победы. Одна досада и несчастье реальности.

Дописываю Мичурина. Чем больше пишу и вдумываюсь в написанное, тем больше люблю этого человека.

Может, он был и не таков, навернсе не таков. Я отбросил почти всю сумму маленьких частных, бытовых правд, стремясь к единой, главной правде этого Человека. Это даст мне много для раздумья. Мне приятно писать об этом истинном сподвижнике Ленина, скромном и органически, глубоко преданном коммунизму, трудном и сложном человеке.

Я ощущаю в нем себя, да простится мне сравнение.

1. III

Писатель, когда он пишет, должен чувствовать себя равным самому высокому политическому деятелю, а не ученику или приказчику.

■

Вчера Н. привез мне из Киева известие о снятии меня с должности художественного руководителя студии.

Нужно взять себя в руки, заковать в железо сердце, волю и нервы, пусть самые последние, и, забыв все на свете, создать сценарий и фильм, достойный великой нашей роли в великую историческую эпоху.

3. V

ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ

не должна быть обычным рассказом (повествованием) на экране в смысле бытового, натуралистического по манере, реализма. Это должна быть вещь реалистическая в понимании высоком, мастерском. Ее поэтический дух, художественный ход обобщений, выбора прекрасного среди красивого, вечного в повседневном, эпического в обычном — все должно быть подчинено единому стилевому комплексу строгого,

высокохудожественного произведения. Не должно быть ни одного пустого, равнодушного метра, ни одного случайного, ничего не значащего слова.

Надо вложить в уста персонажей все лучшее и высокое, все, что способствовало бы высочайшей художественности и высокой жизненной и поэтической правде произведения. Надо соответственно художественному стилевому плану выбрать и персонажей, и одежду, и в особенности пейзаж. Последний должен играть особую, решающую в большой мере роль.

А народ, весь, в целом, надо поставить над войной. Чтобы он в картине был крупнее войны, народ советский, смертью смерть поправший.

1945 год

14. IV

Сегодня пятнадцатая годовщина смерти крупнейшего поэта нашего времени Владимира Маяковского. Как грустно вспоминать, что крупнейший поэт нашей эпохи покинул нашу эпоху.

Помню, накануне самоубийства мы сидели с ним в садике дома Герцена, оба в тяжелом душевном состоянии: я — по случаю зверств, учиненных над моей «Землей», он — обессиленный рапповско-спекулянтски-людоедскими бездарностями и пройдохами.

«Заходите завтра ко мне днем, давайте посоветуемся, может, нам удастся создать хоть небольшую группу творцов в защиту искусства: ведь то, что делается вокруг, — нестерпимо, невозможно».

Я обещал прийти и пожал в последний раз его большую руку. На другой день, собираясь к нему с Юлей, я услышал жуткую новость...

Прошло пятнадцать лет. Недавно в кремлевской больнице престарелый Демьян Бедный встретил меня и говорит: «Не знаю, забыл уже, за что я тогда выругал вашу «Землю». Но скажу вам — ни до, ни после я такой картины уже не видел. Это было произведение поистине великого искусства». Я промолчал...

5. VI

Вспоминаю:

основная черта характера нашей семьи — насмехались надо всем, и в первую очередь друг над другом и над самими собой. Мы любили смеяться, дразнить один другого, смеялись от счастья и от горя, смеялись над властью, над богом и над чертом, нас отличали большая любовь и вкус ко всему смешному, остроумному, едкому. Дед и отец, мать, братья и сестры.

Впрочем, слез нам досталось в жизни много больше, чем смеха.

И все мы были добры к людям.

Своеобразие юмора было нашим семейным и национальным признаком. Оно, и ничто иное, лежит в основе моего так называемого «государственного преступления», так ободрившего всех врагов моего народа.

Я патриот Советского Союза и коммунист, хотя и несовершеннолетний, и все же я во многом выше доброй половины моих гонителей.¹

¹ Значок¹ здесь и далее означает, что в автографе последующий текст идет по-русски; после значка² в автографе снова украинский текст. — *Прим. перев.*



Народ может быть велик в каждый данный момент только в одной области. Нет поэтов — есть генералы, маршалы. Бывают эпохи художников, бывают и другие эпохи, которые производят людей умных и сильных, чрезвычайно мужественных.

Но все же, чтобы стать художником, надо иметь железное мужество.²

30. VI

Сегодня, в субботу, произошло великое событие в жизни моего народа. Впервые за тысячу лет, за всю свою несчастливую историю объединился он в одну семью.

Исполнилась мечта столетий. Исполнилась и моя мечта, мечта моего красивого Кравчины. Будь благословенна, моя многострадальная земля. Счастлива тебе! Дай разума и союзеи руководителям твоим! Будь благословен, ласковый, добрый народ мой. Будь сильным, терпеливым...¹

Июнь, 45

Трудно было писателю (Н.) излагать свои мысли. Не было в мыслях ни ясности, ни веса, не то что прозрения.

Писатель стал сбиваться, экать, нукать: «Ну, ну, ну! Я сказал, что я не придумал всех деталей. Я хочу, ну, ну! Показать в своем сочинении (где оно?), решить вот такую вот задачу — ну, ну, ну! — единства противоположностей, показать, что нельзя резать купоны... После войны мы обязаны жить еще лучше и еще больше работать, ну, ну, ну, все, пожалуй. Нет, еще немножко. Эти мысли пришли мне в голову недавно, дней пять тому назад. Теперь всё».

Директор студии Н.:

— Так, товарищи, ясно? Приступим к обсуждению...²



Беседа отца или деда с сыновьями, офицерами — летчиками дальних рейдов, вернувшимися с войны:

— Расскажите же, где вы были?

— Были везде. Летали надо всей землей.

— Над чьею?

— Надо всей! Над всей планетой.

— А, планета. Знаю. И комету видел. Наслась, помню, с большим хвостом. Турецкую войну пророчила.

— Бросали бомбы на землю.

— Тьфу.

— Уничтожали врагов во всем мире.

— Ну и какой же, он, мир?

— Небольшой он, маленький, отец.

— Маленький, говорите. Как мне вас жалко... Раньше и мир был большой. Ого какой большой. Бывало, дойдешь до Кременчуга, а за ним-то еще степи, туда, на Бессарабию... Большой был мир, полный загадочного. И полный красоты. Выедешь, бывало, в степь, а степь широка-а... — и т. д. А где погиб Володимир?

— В Мадриде.

— Ага, это уж где-то там, за Одессой...



Детство удивляется.

Молодость возмущается.

Только годы дают нам мирную уравновешенность и равнодушие.



Величайшее сокровище человечества — сам человек. Не так ли?

Почему же человеческое общество держится на жестокости? На зле и насилии?

Родились новые условия существования. Они так же неодолимо принудят народы ко всеобщему миру, как прежде принуждали к обязательной войне.

4. VII

При одной мысли о просмотре картины на меня всегда нападала гнетущая тоска. Картина всегда и неизбежно была хуже, чем я представлял ее и создавал. И это было одним из несчастий моей жизни. Я был мучеником в результатах своего творчества. Я ни разу не испытывал наслаждения, даже спокойствия, рассматривая результаты своего безмерно тяжелого и сложного труда. И чем дальше, тем все больше убеждаюсь я, что двадцать лет лучших в своей жизни истратил я напрасно. Что бы я мог создать!

17. VII

Читал «Повесть пламенных лет» на сценарной студии. Таким образом, у меня сегодня знаменательный день.

«Повесть» произвела большое впечатление.

27. VII

Товарищ мой, Сталин, если бы вы были даже богом, я и тогда не поверил бы вам, что я националист, которого надо клеймить и держать в черном теле. Если нет принципиальной ненависти и нет презрения и недоброжелательности ни к одному народу в мире, ни к его судьбе, ни к его счастью, ни к достоинству или благосостоянию, так неужели любовь к своему народу — национализм? Или национализм в непонимании глупостям чиновников, холосдных делег или в неумении художника сдерживать слезы, когда народу больно? Зачем превратили вы мою жизнь в муку? Для чего отняли у меня радость? Растоптали сапогом мое имя?

Впрочем, я прощаю вас. Ибо я — частица народа. Я все-таки больше вас.

Будучи весьма малым, прощаю вам малость вашу и зло, ибо и вы несовершенны, как бы ни молились вам люди. Бог есть. Но имя ему — случай.

3. VIII

С большим удовлетворением прочитал меморандум Берлинской конференции. Теперь я уже верю, что отвратительное гнездо европейских бандитов — Германия — оседлана всерьез и обезоружена. Слава богу.

Начинается новая эра в жизни Европы и у нас. Перед нашей молодежью открываются величайшие перспективы. Народ — герой и победитель в такой тотальной войне! Пошли ему, доле*, силы восстановить потери, народить детей и вырасти победоносно до заслуженных высот.

Мы стали мировой державой, наша культура должна стать мировой культурой. В конечном счете не должно пропасть даром ни капли пота и крови нашей.

Сегодня на стадионе смотрел репетицию физкультурного парада. Любовался молодостью, юношеской пластикой, молодыми мускулами, движением. Много красоты, радости, силы. Много проявлено истинного вкуса и таланта...

Радуюсь за всех добрых людей Советского Союза.

5. VIII

Я принадлежу человечеству как художник, и ему я служу. Искусство мое — искусство всемирное. Буду работать в нем, сколько достанет сил и таланта. Буду, хочу жить добротой и любовью к человечеству, к самому дорогому и великому, что создала жизнь, — к человеку, к Ленину.

16. VIII

Вчера встретил на улице Москвы артиста-эстрадника Аксенова, который уже второй год читает повсюду на гастрольях

* Слово «доля» по-украински, в звательном падеже.

мой рассказ «На колючей проволоке», и всегда с неизменным, как он говорит, громовым успехом, проверенным на самых разнообразных аудиториях.

16. VIII

Как-то показалось мне, что я мог бы написать комедию. Сегодня, бросив «Повесть пламенных лет», я весь день с утра до вечера просидел за столом над замыслом.

Смех и грех. Пробовал смеяться, а хочется плакать. Продумал название «Молодая кровь», перебирал фамилии действующих лиц, персонажей, типаж знакомых, сюжетную вязь, и голова разламывается от усталости. Что со мной? Высохло воображение, погасла страсть? Отчего мне так тяжело? Или я просто устал от работы? Так ведь и сделано вроде бы немного.

Боюсь, не выйдет у меня комедия. Во всяком случае, выйдет не та, какую сегодня хотят. Однако не буду падать духом. Постепенно откристаллизуется основа фабулы, сюжетные ходы персонажей, а содержание и детали форм, и острота, и игра найдутся.

Как бы мне хотелось сделать веселую комедию. Ведь и в кино, я хорошо помню это, пошел я девятнадцать лет назад с единственной целью — делать комедийные фильмы.

Все у меня не так, как у людей...

МОЛОДАЯ КРОВЬ

— Вы подумайте. Старый хрен — а женился!

— Дед Годун? Дедушка!

— Вы ведь стары уже. На что вам жена?

— Как на что? А ругаться?

— Ну, что вы скажете?

— А что говорить. Конечно, вроде бы уже и не того. Теперь разве ущипну когда-либо так — побранимся, а живому человеку все чего-то надо...¹

-
1. Персонаж женский — взвизгивающий.
 2. Персонаж мужской — проспавший всю пьесу.
 3. Кашляющий персонаж — прокашлял все, взмахивая рукой.

-
- Подхалимаж — это своего рода наркотик. Он нужен, иначе его не было бы.
- Кому он нужен?
- В первую очередь всем лицам, занимающим не свои посты. А так как...
- Понимаю...²

-
- Так кто же виноват?
- Осужденный.¹

■

Профессор, великий ученый. Бог ассистентов и студентов. Удивительная эрудиция. У него склеротическое недержание фамилий. Он их забывает. Это раздражает его и всегда портит ему настроение. Самый близкий ему человек — слабенький, неинтересный ассистент, который умеет подсказывать фамилию...²

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДУРАКА

(Драма)

26. VIII

Ничто так не раздражает хорошего руководителя, как наличие разных непохожестей, вообще всяких различий, разнообразия в людях. И хлопот от этого много, и забот, и

недоразумений, и всяких, одним словом, случайностей, которые всегда, как показывает опыт, водятся в темных закутках индивидуализма.

Правда, за последнее время передовое общество и в особенности его начальники много сделали для унификации, чтобы обеспечить спокойствие себе и вышестоящему. Некоторые начальники прославились на фронте борьбы с человеческой непохожестью. Впрочем, и сама общественность тоже не дремала, стремясь соблюсти интересы руководства и тем самым свои интересы.

Возьмите, допустим, человеческое имя. Уже теперь, например, среди молодежи, куда ни глянь, Олег или Игорь, дочка — если не Светлана, так Тамара. Безошибочно. И хорошо. И понятно, и красиво, а главное, никому не обидно. Никто не засмеется и не плюнет — это вам не Грицко и не Срулик, не Акакий и не Мордохайчик.

Вот почему, когда директор кукольной артели Кабанок-Уверенный сказал, что его зовут Торохтий Макогонович, все так и присели. Никто не ожидал такого имени. Иностранец не иностранец. Более того — языков не знает, за границей не был, родственников не имел, — чистый, незапятнанный человек. Вот имечко — Торохтий. Да, надо было уметь читать святыцы, чтобы найти такое громкое имя! Это вам не Аллег и не Джек, это Торохтий Макогонович. То, что он не иностранец, хоть и Торохтий, видно было и по его лицу, и по одежде, и по манере. Все у него было точнехонько такое же, как и у нас, центросоюзовское.

Он любил радио из радиоприемника. Оно играло у него неумолчно день и ночь. Он любил соответствующие портреты и развешивал их во множестве на самых видных местах. Любил также черные гипсовые статуэтки.

Они у него были повсюду.

Люди злы и неблагодарны.

И сколько на них ни трудись, никогда всем не угодишь. Всегда найдутся умники, которые начнут тебя шпынять так или иначе. Сколько голоз, столько и вкусов. На все вкусы не угодишь. Поэтому лучше угождать начальнику.

Торохтий Макогонович делал куклы согласно житейской мудрости. И надо сказать, что он не ошибся.

МАНИЯ

Все жаждут должностей. До смерти не пойму, чего так лезут к должностям. Что может быть лучше конкретной работы, умения создавать конкретную ценность для своего общества!

3. IX

Закончилась мировая война. Академия наук стала на страже мира. Ученый. Благородный человеческий интеллект единого общества без вражды. Благородству созидателя, мыслителю, защитнику свободы человека, блага и жизненной независимости, героям сострадания, всем, кто сделает невозможной стопроцентную, безоговорочную, увешанную идиотскими прикрасами мерзость войны, — вот кому хотел бы я создать памятник вместе с людьми-братьями.

13. IX

Вчера были гости по случаю дня моего рождения. Андрей Буров, Герасимов Сергей, Борис Ливанов, Шкловский Виктор, Екельчик Ю., Халипов и старая моя приятельница Эсфирь Шуб. Принесли мне цветы и приветствия...

23. IX

Благословен мой день! Старею. Сегодня снилось мне, что есть на свете бог. Что призвал он меня к себе и повелел ангелам своим выжечь из моей души и вырубить огненными мечами грусть и печаль, подавленность, страх за мать-отчизну,

за семью, и жену, и за себя, и за все, что я люблю. И ангелы содрали с меня окровавленную кожу и бросили ее в огонь, дабы я стал чистым. Потом вырубili они, по его святому повелению, мой талант и дали мне новый. И стал я немым, позабыв все слова, все литеры и все их условные значения.

— Я снимаю с тебя бремя Слова, человек, — сказал он мне. — Я не давал его тебе. Ты сам схватился за него, как ребенок за огонь или за пузырек яда. А оно сегодня ложь на земле. Я ошибся в твоём таланте, хоть я и бог. Отныне я освобождаю тебя от кандалов, скованных из литер. Бери себе другой талант. Я не подсказываю тебе ничего. Ты не ошибешься теперь в выборе и сам, потому что ты несчастлив. «Дай мне Музыку, боже». — «Бери».

И стал я композитором. Все, что я знал, чувствовал, все, что видел мой духовный взор, — все обратилось в звуки. И стал я свободным. Я растворился в миллионах звуков в трансцендентной своей высшей сфере и написал для людей, которых люблю больше всего на свете, правду, всю, без страха и без ложных, скользких, сладких и подлых прикрас, без угодничества, без тупости, не потакая тупости заматерелых неучей и холодных честолюбцев, безмерно пугливых и ненасытных, жестоких маловеров и человеконенавистников. Какую я музыку создал? Почему прозвенела она благовестом надо всем светом? Чем возвеселила и покорила все человеческие души? В чем был ее смысл, в чем сила? Это была патетическая симфония борьбы за Советское Устройство на Земле. Был гимн Советской Вселенной. Я создал его из бесконечности сложнейших звуковых сочетаний. Разнообразнейших и противоречивых. Как химик или кузнец, я сплавил героические аккорды с пустым, ничтожным звучанием шелеста бумаг и скрипа канцелярских перьев, широкие, как море, пассажи юношеских благородных порывов и стремлений к чистому, всеобщему, извечному — с нудными цифрами ту-

пых барабанов. Трубы восторга — с плачем голодных саксофонов. Громы всемирных невиданных напряжений оркестровой меди, сказочные мелодии славы побед — с шипением кляузничества, грубости и дурной угрюмости. И где-то на сороковых этажах, на самых гребнях симфонических волн моего произведения, сплелись в трагедийном танце радость с недовольством, слава с ненужной парадностью, и гимны, и крики, и восторги, и стенания труда с бурными каскадами дармоедства и неумелости. А еще выше, надо всеми звуковыми армиями и стратосферическими эскадрами звучаний, разливалась на весь мир неслыханная в истории созаучий щедрость в смерти и неумение жить. А снизу по густым и тяжелым-претяжелым басовым низам скрипели, гудели, затухали, и снова гудели, и ревмя ревели, и плакали одинокими душераздирающими фанфарами тысячи невысказанных вопросов придавленной, серой, бедной, невеселой некрасивости. Произведение стало жить, ибо оно не было словом. Из чего слагается красота? Из того же, что и жизнь и победа. Из осердеченного любозного единства всех ее явлений. В моей Симфонии побеждала Радость, и сила ее оптимизма и всепокоряющая Красота были как раз в преодолении безмерности дурного.

Как все просто! Стоит только взрастить любовь к Человеку да избегать, как смерти, подозрительности и ненависти.

5. XI

Пошли, судьба, счастье людям на изувеченной, окровавленной земле!

Пропади, ненависть. Исчезни, убожество.

5. XI

Начинается история с «Повестью пламенных лет».

Если бы рассказать нормальному, живому человеку, верно, хохотал бы до упаду, а может, и не поверил бы, что это

не выдумка зловредного сатирика: Н. избегает меня. Трижды при встрече он нахально заявил мне на мой вопрос, что «Повести» он не читал. Дальше прятаться неловко. Не пускать на глаза!

Этого оказалось достаточно, чтобы стали прятаться и шептаться мелкие сошки, заместители, редакторы и вся, одним словом, служила челядь, которая восторгалась сценарием, как чем-то необычайным.

6. XI

Как мне жаль, что у меня грипп. Так хотелось бы сегодня вечером пройтись по центру столицы среди народа, проникнуться настроением торжественного большого праздника. Ожить, помолодеть...

7. XI

Не произойди у нас в семнадцатом году Великая социалистическая революция, сегодня вся Европа пребывала бы под диктаторскими сапогами Гитлера и Муссолини.

7. XI

Основная цель моей жизни теперь — не кинематография. У меня уже нет физических сил для нее. Я создал ничтожно малое число кинофильмов, убив на это весь цвет своей жизни, — не по своей вине. Я жертва варварских условий труда, жертва убожества и ничтожества бюрократически-мертвого кинокомитета. Знаю, что годы не вернутся и что ни на чем не догнать их. Вот почему, спохватившись только сейчас и думая о напрасной трате времени и сил в кино, не к киноплёнке, коварной целлюлозе, обращаю я сейчас свой духовный взор. Я хотел бы умереть после того, как напишу одну книжку про украинский народ. Когда я окидываю взглядом границы этой книги, соседние, так сказать, с нею державы, я вижу Дон-Кихота, Кола Брюньона, Тиля Уленшпигеля, Муллу

Насреддина, Швейка. Я думаю об этом уже лет пять, ища форму. И порою мне кажется, что я нахожу форму. Я хочу так ее написать, чтобы она стала настольной книгой и принесла людям утеху, отдых, добрый совет и понимание жизни... Сегодня Октябрьский праздник. Гремят салюты. Вечер. На улице снег. Начинается полгода холода. Болит сердце. Дождусь ли я тепла зимою?

9. XI

КРАВЧИНА

(Народная эпопея)

Сегодня точно и полностью ощутил я всем сердцем, что мне суждено, если я не умру скоропостижно и внезапно, написать одну большую книгу, ту самую, которая жила в моем подсознании уже много лет. Она просилась наружу в каких-то своих деталях еще в двадцать восьмом году в ненаписанном «Царе» — моем лучшем неосуществленном сценарии; она жила уже в эпизодах «Меры жизни», в диалогах, в сентенциях, в постоянном моем стремлении к синтезу.

Я уже верю в нее и уже счастлив. Меня уже можно сажать на хлеб и на воду, можно заставить от меня свет, не принимать меня — мне ничего не надо. Мне надо принести народу радость мастерством своего произведения. И больше мне ничего не надо. Верую! Верую! Верую! Я начну с нынешнего дня беречь себя от дурного глаза, от неразумного слова, от житейских мелочей. Политике я буду уделять наименьшее количество времени. В политике я буду жить только на сталинских интегральных вершинах созерцания. Всю свою силу, весь ум очищу от мелкого, повседневного. Буду заклинать себя подняться до высот долговечного произведения. Установлю вечерний час, нечто вроде молитвы народу, полета духовным взором своим на Украину, к родному народу, сыном которого я был, остаюсь и буду во имя отца.

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

III

Как я, бежав из плена, попал к партизанам.
 Как они принимали меня, как допрашивали.
 Как хотели убить, потому что им надо было отходить
 по болоту, но я упросил. Они подозревали, что я шпик.
 Недельку по болоту днем и ночью. Трудности.
 Партизанский край. Как легко стать виноватым.
 Меня принимают.
 Читают письмо Д-ка.
 Казнь изменниц. Написать с соленым юмором и злостью.
 Все.

Примечание. Эту сцену, которую я вам абсолютно точно и правдиво описал как очевидец, я вспоминал дважды. Во второй раз она показалась мне хоть и не такой правдивой, зато как будто более художественной. Поскольку же возвышенная правда дороже обычной и красота — а раз я стал уже вам писать, то я должен думать и о красоте как о персонаже истории, — и красота, я говорю, больше, чем правда, ибо она и вмещает в себе истину, и является единственным учителем жизни, то я должен в виде примечания описать вам точно и другое свое воспоминание об этой же истории. (Моление о пуле.)

Встреча с националистическими бандитами.

Бандеровская чума: Веремчук в лесу.

Вылезайте. Нет. Бросаем бомбы. Пожалуйста. Бросили. Веремчук вспоминает, как трудно ему было убивать человека. Веремчук и гад-националист.

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

Все, что записано у меня о литературе и народе, должно целиком войти в роман. Все, что предназначалось для пьесы «Молодая кровь», и, если можно, даже то, что написано для пьесы «Мера жизни». Оттуда можно взять диалог Скидана с Верещáкой, конечно переработав его стилистически и частично по содержанию. «Я ужасно рассердился. Только не думайте, что я обидел или избил его. Нет. Наоборот. Я вынул из кисета два креста и наградил его. Иди, говорю, и при-знавайся».



Мой политический уровень невысок. Кое-чего я и до сей поры не понимаю. Вот, к примеру, не знаю, почему сейчас люди так не любят работать? Почему их надо погонять газетами? И для чего, скажите мне, труд рассматривается уже как нечто исключительное. Почему его провозгласили делом чести, доблести и геройства, когда он в с у щ н о с т и простое дело?

Как хотите, а по-моему, не надо быть героем, чтобы трудиться. И доблести особой не надо. Не следует так запугивать людей трудом. Труд — штука приятная, радостная. Боже мой, как, бывало, выедем в поле рано-рано... Солнышко всходит, жаворонки поют.

Большой абзац о красоте труда.

А на геройство не всякий способен.

А теперь как-то так вышло, что от доблести и геройства труда все бегут в канцелярию: тот в инженеры, тот в офицеры, а девки в милицию. А мне вот, как увижу девку в милиции, ну жить не хочется, не хочется с женой спать ложить-

ся и любить ее не хочется: еще родится, чего доброго, милиционерша, возьмет да и оштрафует.

Ай, беда... А гончара, плотника [нрзб.] или хорошего сапожника нету — вывелись до последнего.



Надо найти форму и соответствующее место для целой главы: Кравчина в труде. Кто работает, кто не работает. Проблема труда, проблема создания материальных ценностей, проблема паразитизма. Паразиты вокруг Кравчины. Их много. И не беда, что их много. Беда, что они существуют как паразитизм активный, объедающий Кравчину, а еще хуже, что он мешает трудиться. Это бюрократизм. Бюрократизм в сельском хозяйстве. Режиссура или массовка на поле. Созидание, творчество или исполнение.

— Дети, бабки, деды — что делать?

Только скажите мне: почему же невесело стало жить в деревне? Почему стали так избегать физического труда? Кто проклял его? Кто заколдовал, унизил? Для чего с человека, который обрабатывает землю, сняли красоту вышивки, покроя, цвета? Отчего человек земли стал карикатурой на городского гулятя? Для чего это? И откуда? Физический труд ненавидят рабы и паразиты. Так кто же меня окружает?

Почему я перестал интересоваться писателем?

Почему поэт считается отсталым, когда сочиняет обо мне хорошие стихи? Почему детям моим трудно учиться?

Почему они бегут из деревни? Чего разлетаются?

То, что меня, мужика, полегло в боях Отечественной войны больше, чем кого бы то ни было, — это я знаю, и с этим я мирюсь, допустим, иначе не могло быть. Но почему писатели пишут о моей жизни сейчас разные глумливые комедийки, для чего скрывают от мира мою великую и высокую правду?

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

III

Одна из основных линий книги — дочка Кравчины, его любимое дитя — Мария. Он ищет ее повсюду. Она в плену.

Он расспрашивает всех. Он препирается с солдатами и офицерами, которые некрасиво ведут себя с пленниками.

Дать его встречу с ней. Она изнасилована. Она плачет. Она проклинает жизнь. Она хочет умереть. Он умоляет ее жить.

— Они унизили мое достоинство человеческое.

— Голубка моя, вся война — унижение человеческого достоинства.

— Я грязна и отвратительна.

— Ты прекрасна, как вот эта разбитая церковь. Как эти руины. Они и отвратительны и прекрасны вместе.

— Я изувечена.

— Изувечена вся страна. Чем ты лучше ее?

— Ни у кого не хватило для меня жалости.

— Не жалость гнала нас сюда, а гнев и ненависть.

— Кто меня возьмет теперь?

— Если не возьмут, так разве потому, что некому будет. Рад, что не взяла тебя земля. Нас она приняла миллионы.

— Они звери, а не братья.

— Так, голубонька моя. Они продирались сюда железными когтями, бежали, как волки-бирюки в ночи, лесами, да оврагами, да болотами. Лезли через трупы своих, пропахли кровью, гноем, потом, спиртом, йодоформом...

14. XI

177 Выписать обязательно, как он на митинге там, где говорил об Украине, поругался с политкомиссаром из-за того, где ставить слово «именно» — впереди или позади. Иди ты

к чертовой матери, убогая твоя, скарёдная душа. Не все ли равно, где оно стоит? Ты на людей смотри, а не на слова. Что мы тут, на дипломатическом приеме или в президиум собрались? Я не слова вижу, а кровь. Мы перед лицом смерти стоим. А умирать я согласен за Ленина на всех языках — за мать, за предков и потомков, когда угодно. Как вы, отец?

— Истинная правда, сынок, лишь бы умереть достойно и честно или победить. Человека украшают дела, а не слова. Надо, чтобы дело стояло крепко, а слова... что слова. Слово — благо, когда оно в тяжелый час веселит душу товарища, когда оно поднимает на подвиги или на славное дело.

Тут они подали друг другу руки и бросились в огонь.

Как похоронил Кравчина сына, что они сказали друг другу перед смертью. Как перед концом сын попросил поставить его на ноги.

Тогда я поднял его и держу.

— Что, Василь, видишь Украинну?

— Вижу, отец.

— Как она?

— Благословенна, отец. Пылает.

15. XI

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

III

Две главы.

Первая.

Встреча Кравчины с американцами. Это были канадцы и из США. Преимущественно украинцы.

Разговор Кравчины с американскими украинцами должен быть блестящ.

Он презирал их. И не американцы и не свои. Чужие, заграничные. Прислужники, одним словом.

Вторая.

Кравчина действует против бандеровцев.

Переговоры с окруженными бандеровцами. Его послали, возможно, парламентаром. Возможно, что там, в каменоломне, где они были, где их застукали, был и один из его сыновей.

Как они не хотели узнавать друг друга или не показывали вида никому, что узнали. И сын был, возможно, старшим группы.

Так или иначе после долгих и глубоких разговоров об истории и об ультиматумах все они были уничтожены.

Я никому не признался. Тяжко мне и стыдно, что выродился мой род. Нет у меня гордой натуры Тараса Бульбы. Не встал я при всех, не назвался — не сказал. Побоялся, что не поверят и начнут подозревать в родственных связях. Убил молча. Еще и пнул, убив, его, изменника, как собаку, и не глянул даже на его красивый труп, как Тарас Бульба на своего изменника-сына, даже бровью не повел вот настолечко, словно и не сын он мой был, а падаль. Позднее уже, ночью, пошел я в хлев, зарылся в солому, зажал шапкой рот и долго-долго рыдал, приговаривая такие слова, каких уже вроде никто нынче и не говорит.

■

Он поступал и думал соответственно порядку вещей. Отступая перед врагом, он ненавидел мир и самого себя.

Он проклинал свое военное счастье.

Это не означало, однако, что он не верил в свое счастье, что верил в конечное счастье врага. Нет, ему просто иногда недоступны были все сложные механизмы управления и планирования (планов) счастья, вся сложность его путей. Наступая, он проникался вдохновением, он жаждал наступления, невзирая на колоссальные потери, на ужасающее кровопролитие,

Одним словом, он был таков, каким был порядок вещей. Он был в одно и то же время и продуктом этого порядка и фактором его.

15. XI

Старший лейтенант. Пробыл на войне все четыре года. Вернулся из Германии.

— Скажи мне, что ты вынес вообще из пережитого ужаса, изо всего смысла войны? — спросил я его после довольно долгого разговора.

— Что вынес? — подумав, ответил он. — Я пришел к выводу, что в жизни все намного грубее, чем писали нам когда-то и говорили и говорят.

Он ответил на какие-то свои сложные мысли о множестве, должно быть, конкретнейших явлений.

— Еще скажу. Вот у всех писателей в книгах или в статьях: война — значит слезы, плач, горе. Это неправда. Я не видал ни слез, ни горя. Все очень просто. Хлопнули — сапоги долой и в яму зарыли — готово. Никто ничего и не думает. Наоборот, весело и полно смеха.

— А население?

— А я его не видел. Людей там вообще нет. Они выселены.

— А в ямах, в оврагах, в лесах, в погребках? А во время наступления? Ты же всю республику прошел, да не одну, а несколько?

— Да я с людьми не встречался. Может быть, и сознательно.

— Друг мой, ты был на войне душевно и физически слепым, — сказал я. Мне хотелось прибавить: «Ты был мелочным эгоистом и трусом. Ты боялся встретиться с человеческим горем. Ты обошел его. Потому что ты пуст».

Этот молодой человек теперь хочет и будет создавать фильмы о войне.

КРАВЧИНА

II

Книга

Не спал я всю ночь. Писал.

— Запиши нас, Кравчина, в свою книгу. Узнали мы, что завтра утром умрем. Погибаем все.

Это не было никаким сверхъестественным предчувствием. Это было точное знание на основе опыта и характера приказа. Это знали все командиры и знали мы. Сверхъестественным было то, что мы делали.

И вот солдаты начали проситься ко мне в книгу.

— У меня, говорю, для себя бумаги не хватает.

— Запишите хоть в одной строчке: что был тут, под Сандомиром, такой-то...

— Чем можешь похвалиться, в чем отличился? Что можешь засвидетельствовать о себе?

— Девушку обидел. Вызволennую из неволи.

— Ты?

— Лгал всю жизнь с трибуны. Я заколдовал в своей деревне трибуну, так заколдовал, что никто не мог сказать с нею то, что думал.

— Я переименовывал свой город так часто, что уже и не знаю, откуда я.

— А меня запишите в партию. Такой-то.

— Записываю.

— И меня запишите. Пишите, что умер геройской смертью, как большевик.

— Все мы, парень, тут большевики. И все умрем. Говори уж, если хочешь, что-нибудь простое, житейское. Может, есть у тебя грех какой или особая заслуга. Чем отличался ты от нашего народа?

- Пишите: великому Сталину слава. Сержант Горобец.
- Пишу славу. Следующий...
- Напишите про...

КРАВЧИНА

II

Написать большую главу желаний.

Желали перед битвой. Юноши и девушки. А он записывал. Это были чистейшие романтические программы лучшего. Касались они преимущественно моральной сферы, однако многое носило чисто житейский характер. Как будто перед смертью прозрели глаза на то, что всегда было перед ними и чего они не видели. И теперь они сами изумляются. Один сказал: товарищи, как же это все просто, я все вижу, я могу сказать всему миру, как надо жить! Записывайте. Тарас записывал, всматриваясь в юношу, и каким-то свойственным только его земляной душе способом ощутил, что так говорят перед смертью. Величайшая тоска охватила его душу. Неужели то-то и то-то, неужели не обнимет он уже девушку, не назовет ее своей жизнью, не порадует на детей своих, не станет профессором... и т. д.

Действительно, он был убит.

1. Написать диалог перед смертным боем.

А может быть, особая новелла, может быть, глава «Золотых ворот».

2. В «Золотые ворота» внесли «составителя законов» — солдата лет пятидесяти с гаком.¹

Национальный эпос — воплощение исторической памяти народа.

Роман должен обратиться к народной речи.

Жизнь послала нам сюжеты необычайные. Они вызывают о художественной обработке,

Фантастическое смешано с героическим.

Жестокость со спокойствием и благородством человеческого духа.

Низость с верностью.

Хихиканье и агаканье безумцев с непоколебимым сарказмом смелого ума на пути к истинной цели человеческой эволюции — к единству мира в мысли, в действии.

Идея революционного гуманизма.

Революционной героики.²

КРАВЧИНА

II

Смерть девушки

Девушка умирала, удивляясь. Неужели это все? И уже смерть. Неужели никто меня больше не приласкает, не приглубит? Меня же никто еще не целовал.

Я еще не тронутая. Господи. Товарищи. И у меня уже не родится ребенок? .. Умираю. Лю-уди!

Что же я знала? Солдатскую одежду и работу. А люди, которые пытались подойти ко мне, все были такие бесстыжие, и не так бесстыжие, как некрасивые. А я так... мне так хотелось красивого, так хотелось красивого-красивого.

Я девушка. Товарищи врачи, не солдат я. Девушка. Прощайте...

19. XI

Мне сказал сегодня Н. (академик), мой большой друг:¹

— Я чувствую и знаю теперь одно. Мы живем в начале эпохи гибели цивилизации, по крайней мере европейской. Все, что происходит в мире, ничего другого не говорит.²

— Считаете ли вы возможным как ученый, что нашей планете в целом угрожает атомная катастрофа.¹

— Безусловно. За все время своего существования человек впервые прикоснулся к явлениям космического порядка. Безусловно. Ну что же. Во всяком случае, когда я, сидя в этом номере гостиницы, буду видеть, что мир разваливается, я скажу без сожалений, что ничего лучшего человечество не заслужило.²

Долго и много говорил мне старик. Мысли его между тем вязались скверно: склероз уже заморозил его прекрасный мозг, но сквозь непоследовательность мысли, сарказм, иронию, порой чудаковатость и крайний скептицизм прорывалась великая житейская драма выдающейся человеческой индивидуальности с колоссальной эрудицией, гордая и причудливая.

Таких людей сейчас нет. Весь строй его другой. Это девятнадцатый век Европы. Порою он кажется мне персонажем из какой-то пьесы. Это образ многогранный, богатый, вдохновенный и... комедийный чуть-чуть.

24. XI

«Назначили меня... словом, долго думали и туда, и сюда — не выходит дело. И вот назначили меня заведовать — начальником комитета искусств нашего же села. Заведую. Запретил то, запретил се, запретил петь «Ой, закувала та сива зозуля», еще кое-какие песни: одни говорили — националистические, других я просто не любил, а то, бывало, запрещу что-нибудь эдакое, что, может, и не того, ну, да ведь, с другой стороны, надо же разбираться и в искусстве. Запретил бандуру, вышивки крестиком и т. п. Вижу — выходит. Слышу, везде думают, что вроде я старший и, стало быть, разбираюсь глубже всех. Потом привык. И вот понемногу, помаленьку набираюсь я спеси и чувствую, что делаюсь негодяем. Характер испортился, увял, тихо вокруг, стал я ра-

зевать рот на людей, тыкать кукиш в телефон, громко зевать. Что делать? Заведу, запрещаю, не пускаю, кричу, не даю. Получается. Провел кампанию по уничтожению плахт, вышивок крестом, песен и т. д. . . .»

«Он был председателем и поэтому понимал в искусстве больше всех».

Заведовать — не давать, запрещать, не пускать, стеречь, прятать, отговаривать.

Существует теория или сказка о том, как хорошего, честного, доброго и красивого человека назначили на должность, которой он не соответствовал цветом и выражением глаз. Чего-то в глазах этого человека недоставало для этой должности. А еще более не соответствовал этой должности его ум. И вот занимающий несоответствующую должность человек сделался неприятным, нехорошим, нечестным, злым и несчастным и, что хуже всего, сделал несчастными многих людей, подчиненных ему по работе, а стало быть, и по жизни, ибо что такое жизнь? Работа.

Так вот, все это неправда, так и знайте. И такие теории опровергаются так же, как атомная бомба отбрасывает прочь многолетние предрассудки о постоянстве энергии.

Торохтий Макогонович не подходил под эту сказку, он не сделал никого несчастным, хотя вся кукольная артель и в самом деле стонала, грызлась, страдала и поносила жизнь последними словами. Винават был не он, а его заместители.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ТОРОХТИЯ МАКОГОНОВИЧА

Таким образом, единственными виновниками перед всем миром были заместители, не кто иной, как они. Если бы он взял себе пару заместителей поумнее себя. . . Поставим точку, граждане. Приглядимся к своим заместителям. Кто из нас,

даже не гордых, не мнит себя если не передовым, то правофланговым?

Торохтий Макогонович — чрезвычайно позитивный. Он ни разу не ошибся благодаря своей ординарности и отсутствию воображения и страсти. И чтобы, не ровен час, когда-нибудь, кто-нибудь, как-нибудь, чего-нибудь — ведь и он все-таки живой человек, — никто не бывал у него дома.

Принципиально не пускает.

Первый заместитель — Иван Васильевич Рыба.

Второй — Гупалюк Иван Данилович.¹

— Не верьте в их вежливость, она у них напускная.

— Знаете, я предпочитаю напускную вежливость искреннему хамству.²

Описав красиво все симпатичные черты характера Торохтия Макогоновича, следует далее для объективности, в соответствии с требованиями социалистического реализма, указать, что, подобно тому что и на солнце бывают пятна, было пятно и на Торохтии Макогоновиче, и, собственно, не пятно, а маленькое пятнышко (родимое), почти порой незаметное. Торохтий Макогонович был глуп. То есть не то чтобы он был каким-нибудь абсолютным идиотом или там дурачком, нет, он был далеко не дурак. Да и трудно сейчас, в век радио, быть полным дураком на манер Иванушки. Иванушка — это наивная и одиноличная старина. А ныне обобществленный дурень вместе с умными людьми сделал большой шаг вперед. Бурная общественная жизнь, газеты, организации и особенно радио снабжают его повседневно духовной пищей в виде различных одинаковых для всего человечества информации. Он пожирает эту пищу.

Он был просто неумным человеком, человеком, так сказать, умственно малолитражным. Зато он был послушным, позитивно-послушным, честным, всегда готовым на всяческие позитивности, с милой улыбкой. Не то хочет, не то не хочет. Как гусак в птичнике,

— Эх, дать бы ему пару хороших, умных заместителей! Разве так было бы? Заместители сволочи, — годами вздыхали сотрудники Торохтия Макогоновича, ненавидя его заместителей.

24. XI

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

III

— Не положу, говорит, оружия! А тот тоже говорит — не положу. Такие уж они были. Ну что поделаешь. Так и мы: коли так, то уж так — и давай биться. А что людей побили! Трупом смердит, везде нагажено, а вшей было! Разве теперь вши? Так кое-где частично вошка проползет, да и та немецкая. Я своей вши давно уже не кормил, забыл уже и какая она. Разве после войны ползет. Пожалуй, теперь до конца войны и не увижу.

Семья у меня есть. Пятеро сыновей и дочка. Две дочки. Правда, сыновей поубивало. Ну, дочка старшая не простая. Прославилась она на весь мир.

Он так рассказывал, какая она была красивая девочкой, что у всех слезы выступили на глазах. «Олеся».

— Героиня?

— Нет. В тылу прославилась эпоху.

— Чем?

— Не скажу.

— Ну скажите.

— Не скажу, догадайтесь сами, чем могла прославить двадцатый век молодая красивая вдова, умная, со средним образованием.

— Нет.

— Нет.

— Нет.

— Нет.

— Нет.

— Ну говорите же, люди добрые. Никто не угадал. Тогда я сам скажу. Она ходила в ярме вдвоем с коровой. В эпоху пара, электричества.

■

Я думаю, что не радио, не разложение атома, не пенициллин и не летающая крепость — величайшие события в мире. Я презираю крепости и атомы, пусть не гневается на меня Америка. Величайшее событие в мире — это моя дочка Олеся, с коровой впряженная в плуг. Ее моя душа никому и никогда не простит. Хотя нет — прощу. Зачем мне носить ярмо еще и в сердце своем?

Придет домой, напьется водки, запоет, запоет, да всё «му». А потом плачет, приговаривая такие слова, которых еще и свет не слыхал и ни одна газета не печатала. «Му» да «му».

Моя родная девочка, дочка моя, Олеся.

Будь я великий художник или резчик или заведуй я чем-нибудь великим, вот кому бы я создал памятник эпохи.

Памятник всегеройства, великомученичества и позора человечества.

Пречистая мать моего внука, у которой перегорело молоко в груди.

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

II

26. XI

Географию романа надо выписать особенно точно, с документальной правдивостью.

Надо описать село, пейзажи, район. Допустим, он из Великого Перевоза или Шишаков.

Так вот, должно быть описано, как немцы во время боя или отступая жгли село, как село превратилось в пустыню. Река. Вспомнить бой у реки из «Победы».

Озера, сенокосы. Деревья, растения, травы, все, что росло в поле, как называлось.

Сделать иллюстрации и фотографии флоры и фауны села. Можно дать также и фотографии улиц, хат. Отдельных людей. Ландшафта. Придать, таким образом, всему вид настоящей и точной документальности.

Таким образом, моя рукопись должна быть украшена не только заставками, концовками, заглавными буквами, не только большим количеством иллюстраций, но и фотографиями. Сделать все своей рукой любовно и тщательно, как воплощение жизни. Летопись.

Разделить книгу, собственно ее внутреннюю основу — характеристику Тараса, — на главы. Каждая глава органично объединена со всеми другими главами, у каждой свое точно обозначенное направление:

Роман — наивен, прост и бесхитростен.

Роман — умен, сложен и остер.

Весел и беззаботен.

Нет, печален и глубоко задумчив.

Добр и недобр. Он мягок как воск. Он и тверд как сталь. Мстителен и великодушен.

Ленив и трудолюбивый работяга.

Одним словом, вся полнота народной психологии, народного характера должна в нем найти себе место, распределяясь в надлежащих правильных пропорциях, соответствующих основам украинского национального народного характера.



Тарас Кравчина — Петро Скидан. Может быть и другой вариант: не Петро Скидан, а Мина Нечитайло. Возможно и вероятно, это еще лучше.

Приезд С. в колхоз остается, понятно, с последующими комментариями Тараса.



В первую половину, собственно, в начало третьей части ляжет переработанная «Украина в огне», где Тарас Кравчина — Лаврин Запорожец или Мина Товченик.

Очевидно, впрочем, Запорожец.

Дальше идет возвращение, могучее наступление Красной Армии. Запорожец-Кравчина едет в армию.



ЕГО СНЫ

Сон — форма, монтажный, композиционный способ для высказывания разных интересных и чрезвычайных вещей и неосуществленных возможностей. Порою граница между сном и явью теряется.

ЕГО СОЖАЛЕНИЕ

Возможная форма лирических экскурсов.

«Как жаль мне, что я не писатель, написал бы тогда книжку или сказку, как одного человека...»

КОМПЛЕКСЫ — ЭТИЧЕСКИЙ, МОРАЛЬНЫЙ, ЭСТЕТИЧЕСКИЙ

Постичь все, чем мучился всю жизнь. Основной комплекс страсти — этический.



ЛЮБОВЬ К КРАСОТЕ

«ГИБЕЛЬ БОГОВ»

Может целиком войти в одну из частей.



«Победа», «Тризна», «Зачарованная Десна», «Китайский святой», «Украина в огне», «Большое общество».

Приспособить, переработав все, соответственно биографиям сыновей и его собственной биографии.

СНЫ И ПРИМЕТЫ

Снам и приметам и наблюдениям уделить особое внимание.

Мечты и желания

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Он мог представить себя конем, убитым, повешенным, сожженным, подрубленным плодовым деревом. Он представлял, как он поймал Гитлера и судит его. Сделать большую сцену, большую главу воображаемого суда. Суд — это моральный кодекс Кравчины. Кравчина и Гитлер. Кравчина и Гесс.

Разговор с Гессом (начальником концлагеря). Гессу захотелось, уничтожив 2 миллиона человек, поговорить с 2 000 001[-й] жертвой. Это был Кравчина.



Через все «Ворота» и особенно через третью часть пройдет идея «Отсталая Европа. Передовая Азия».

То есть это как бы мы — не отсталая Европа, а передовая Азия.

У Европы горячее желание забыть о наших жертвах.

Хотят забыть, не замечать нас.

Потому что мы им органически не нравимся, они хотят, чтобы мы не присутствовали в их сознаний. Они вытесняют нас в область подсознательного.

Только политики не забывают о нашем существовании, об угрожающем *memento mori* и зорко стоят на страже старого Европейского мира.

Старый мир боится нас.¹



Описать бой под Грайвороном.

1. Артиллерия.
2. Танковая атака.
3. Пехотная атака.
4. Жнецы.
5. Бронебойщики у реки.
6. Купающиеся девушки.
7. Переходят реку вброд.
8. Падающие в реку снаряды.
9. Сцены в госпитале (под Харьковом).
10. Убитая женщина в долине.
11. Плачущая у госпиталя, там же.
12. У копен целуются и пр.
13. Несут на навозных носилках пленного раненого черта.
14. Мимо везут умершую Мать детей.²



Описать хату Кравчины с иллюстрациями и фотографиями. Фотографии богов, святых и великих людей. Нары, печь, 192

земляной пол, помойка, сени, двор в натуральном виде, старинный двор с ненужными хлевами, озином, повестью... Уборная на свежем воздухе.

Колодец. Вода.

Пища. Вообще харчи.

Иконы. Боги. Как при немцах восстанавливали церковь в селе.

Правда о религии.

«Гибель богов».

Как художники писали с Кравчины апостола и как это ему трудно было [нрзб.].

Как, впрочем, служили в церкви, которая была переоборудована в магазин промкооперации. И как ничего из этого не вышло.

В богов не верили, однако держали их в красном углу для красоты и на всякий случай.²

30. XI

Утро прошло в работе с Чахирьяном над текстом армянской картины, которую я делаю тайно от Б...*

* Речь идет о документальном фильме «Страна родная», который делался Ереванской киностудией к 25-летию советской власти в Армении. Фильм был снят по сценарному плану Г. Григоряна и А. Шайбона режиссерами Л. Исаакяном и Г. Баласаняном. В дальнейшем, уже в Москве, к работе был привлечен режиссер Г. Заргарян. Под руководством А. П. Довженко фильм был частично доснят и при его непосредственном участии смонтирован. По личной просьбе А. П. Довженко, в титрах фильма он значится только как автор дикторского текста. Тайно, как пишет Довженко, он работал над дикторским текстом с Г. П. Чахирьяном (тогда заместителем начальника Управления кинематографии при СНК Армении), так как все это делалось вопреки указаниям руководства Комитета по делам кинематографии — не поручать Довженко картины «Страна родная» и дать ее смонтировать одному из режиссеров Центральной студии документальных фильмов.

[Ноябрь 1945]

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

III

Доля моя.

Свет мой широкий.

Благословляю вас, что не поймали вы меня. Что не дали мне в руки ни меча, ни булавы, ни печати, ни запретного статута. Что освободили меня от бремени управления или его видимости, что не дали мне в руки скрижалей законов человеческих, не заставили запрещать, гнать, не терпеть, разлучать.

Что ношу я царство свободы в своем сердце. Что могу думать неотступно только о великом и подымать природу до себя самого, дабы она отображала мою душу. Что могу радоваться малому и сорадоваться откровенно и жалеть свободно, зная, что только через полноту и свободу жалости человек остается человеком, а не камнем с высеченными на нем письменами законов человеческих!

Что могу простить столько, сколько не дано простить ни одному царю.

Я прощаю многих, многих.

Я сужу в своем душевном трибунале по живым законам народной беды и прощаю...

[Ноябрь 1945]

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

III

Человек рождается для счастья и радости, и борется он и действует во имя счастья. И расцветает человек в счастье, а не в тоске, в свете, а не во тьме и безвестности, в семье, а не в разлуке, и никогда не расцветает в неволе.

Одиночество нужно человеку в свое время и в своей мере.

Руины безобразно гадки. Они гнетут души, и в них не хочу я искать красоту. Народ не видит красоты в руинах. Пробовал запеть на руинах веселую песню. И замолк.

Благородные руины? Не знаю. Я знаю жалкие руины.

4. XII

Я абсолютно убежден, что сейчас я вступил в важнейший период своей жизни, иными словами, что сейчас моя творческая ценность, все то, что я ношу в себе, все, что продумал, претворил в образы, сформулировал в мысли, — наиболее значительно из всего, что я сделал по сей день.

Мне сейчас нужно только одно — десять лет полноты физических сил, физического здоровья, ясности мозга, безупречности сердца.

6. XII

Пятнадцать лет обрабатывал я свою или, вернее сказать, общественную ниву. Не жалел ни сил, ни времени. Не знал порой праздников и даже недосыпал ночей, все думал, как бы лучше снять урожай. И у меня родилось. Был добрый хлеб на моем поле, были яблоки в саду и мед на радость всем, кто ел, кто хотел есть.

Один только раз не вышел у меня урожай. Не так как-то вспахал, не то посеял или молитву не ту прочитал, и к тому же сильно болели голова и сердце. Тогда пришли на мою политую тщетным потом ниву злые люди, поставили посреди увядшего сада наспех сбитую трибуну, подобную эшафоту, и, прикрывая свой стыд, а кто и не стыд, а злость или пустоту свою, громко кричали:

— Вот он! Пятнадцатью урожаями обманывал нас. Пускал нам пыль в глаза красотой своего труда. Но наконец нам посчастливилось. На шестнадцатом разе он разоблачил

свое истинное лицо. Распните его, распните его! Ненавидьте, презирайте! Именем великого бога, отца нашего — распните его. Не своим именем, ибо у нас его нет, именем соратника...

Тогда я молча упал и умер. Тело мое бросили собакам. Стоит моя нива порожнем, стоит моя ограбленная хата порожнем.

9, XII

Мы единственная в мире страна построенного социализма, в которой слово «интеллигент» звучало (когда-то) презрительно. У нас было заведено понятие «гнилой интеллигент». А между тем интеллигент никогда не был у нас гнилым. Наоборот, он был пламенным, чистым, передовым, гнилой была у нас не интеллигенция, а мещанство. Оно осталось гнилым и нестерпимо вонючим и сейчас.

Сегодня интеллигенция «завоевала» себе честь стоять на третьем месте после рабочих и крестьян. Знаменательное распределение. Говорю себе: человек, помни — высшая твоя цель — стать на третье место, на место наивысшее, наидостойнейшее, наипрогрессивнейшее.

Люби это слово, пусть будет оно твоим символом — человек — интеллигент, — ибо не может быть радости жизни сегодня в стране, где тебя нет, где ты заброшен, третьеразряден, фальшив или подделен, какие бы высокие слова ни написала на каменных скрижалях рука великих интеллигентов Маркса, Энгельса и Ленина.

11, XII

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

Все проходяще, меняется.

Все течет. Подчиняясь закону гидростатики, Тарас Кравчина приобретал форму того сосуда, в который его влили.

Правда, при вливании немало расхлюпалось, да и влившихся и расположась всеми своими молекулами параллельно стенкам сосуда, он долго еще смердел — старой предыдущей посудиною частничества, собственнических идей и прочего. Некоторые его молекулы, например, долго еще болтали неведь что, иные верили в бога, а иные, что уж там скрывать, хотели бы увеличить малость приусадебный участок, — одним словом, вещество, из которого состоял Тарас Кравчина, было неоднородно.

На чем, правда, сходились все его молекулы — так это на фашистах, их он ненавидел всем своим существом.

РАБСТВО

(Тема сценария)

1. Люди, поиски первого класса. Цвет человеческого мозга — знания.

2. Война охватывает весь мир. Не хватило воображения у ученых. Хватило на все: на электроны, позитроны, нейтроны. Пронизали тончайшим доскональным анализом микронные вселенные, проникли в тайны микрокосма. И... стали.

3. Что делать? Ступить последний шаг или нет? Сказать слово — пусть будет атомная бомба! Или — не сказать? В этот роковой для истории земли момент великим ученым не пришло на помощь сердце. Оно было глухое. Они были духовно убогие люди. Они были лишены воображения, голоса, сердца, чуткости душевной. Они были рабами своих открытий. Слово было сказано.

4. Перед этим спорили дѣма. И все-таки мыслили они не на высоте своего открытия, как слуги капитала.

5. Бомба была испытана. Резонанс всемирный. Всемирные результаты. Только они уже не знали их. Никто им не рукоплескал. На них не набрасывались журналисты. Не снимали кинооператоры. Недобрым ветром подуло в мире.

6. Они были заперты. Их разлучили с родными, с детьми, со всем миром. Их сторожили в пышных тюрьмах, как социально опасных людей, которыми они и на самом деле стали, прикоснувшись к космическим сферам.

7. Создание их духовного гения досталось преступникам, жестоким и дурным правителям, погрязшим по горло в атаквизме.

8. Они уничтожили цивилизацию. А может быть, и всю землю.

28. XII

Суд над фашистскими фюрерами — самый страшный и самый зловеющий из всех процессов, когда-либо происходивших в истории человечества. До такого дикого упадка человечество еще не доходило. Во время войны мы все измеряли события боями, пожарами, зверствами или проявлениями других гнусных издевательств со стороны немцев, которые во всех войнах были превеликими хамами. И только сейчас, на процессе в Нюрнберге, из всех сверхмерных зверств, несчастий, мук и страданий, из всего, что творилось в Европе и во всем мире, из всего, что творилось в Германии, — только сейчас из всего этого встает во весь рост истинная картина фашизма, истинная суть мировой трагедии.

Нужны антиподы Гитлера, новые светлые немецкие герои, и не один, а много, которые озарили бы человечество чистым сиянием неизмеримо высокого творчества, такой радости и чистоты, которая могла бы заполнить все бездонные пропасти зла, причиненного человечеству немецким наездом, когда он родил Гитлера.

Стою на коленях. Целую землю, по которой проходили наши солдаты с боями и где они погибли во множестве миллионов, спасая себя и проклятую старую шлюху Европу.

— Описывать надо красивые дела, умные человеческие разговоры, а не вот эти неестественные выкрики, да руины, да головешки или смердящие трупы.

Написали бы, как двое верно любили друг друга, о чем они ладком думали, да что надо знать, чтобы лучше жить на свете.

Да как, к примеру, человек что-то там любит, или умеет, или как воюет неумолимо, щедро, думаячи.

А вы все пишете: убил да уколошил, сжег да поджарил, повесил да еще убил по-всячески. Да все ругань, да крики, да проклятья.

— Эге, неестественно, одним словом.

— Мы же сами видим, на что же это описывать.

— И почему, чтоб попасть в писания ваши, надо убиться, сгореть или повеситься?

— Напишите нам что-нибудь веселое, смешное.

— Ну, а над чем же смеяться, простите?

— Ну, посмейтесь хоть надо мной, как я и Устя запрягаемся в плуг и пашем, как коровы.

— Да, чтобы не плакать, мычим или смеемся друг над дружкой.

— Позвольте. Против чего пишется книжка вообще, я вас спрашиваю?

— Против фашизма.

— То есть?

— Против ненужного, лишнего, не такого, как нам надо. Значит, против злодейства, ненависти, мести, против крови, против недоли и грубости, неравенства. Неужели вы не доверяете нашему гневу и гордости?

— ...Я не понимаю, чего вы хотите от меня?

— Любви, вот чего. Веселого, смешного, доброго. Ра-
199 дость нужна, а вы пугаете. Сделано так много зла, что

мestью его уже не прикроешь. Нужна не ярость и ненависть, а высота ума.

— Глупости ты говоришь. Не слушайте его. Пишите все, что видите, — весь ужас, всю грязь, все нечеловеческие жертвы и страдания. Пусть знает человечество. Пусть пожалеет нас!

— Кто смеет нас жалеть?

1946 год

2, /

Бог в человеке. Он есть или нет его. Но полное его отсутствие — это большой шаг назад и вниз. В грядущем люди придут к нему. Не к попу, конечно, не к приходу. К божественному в себе. К прекрасному. К бессмертному. И тогда не станет гнетущей серой тоски зверино-жестокое, тупого и скучного безрадостного будня.

Б, /

Войну в искусстве надо показывать через красоту, имея в виду величие и красоту персональных человеческих поступков на войне. Всякий другой показ войны лишен всякого смысла.

201 Это парадокс, один из величайших в истории человечества.

Ибо война — глупа. Жестокость и глупость, надев атакистические одеяния, овладевают массами преступников, затыкают на время своих злодейств рот искусствам, то есть тому, чем человек отличается от животного. Освящают этот крестнический акт неумирающим утверждением: когда стреляют пушки, музы молчат.

И сам идиотизм убийства и гнуснейшего массового насилия возводится в ранг искусства войны! Военное искусство! Оно не более искусство, чем шизофрения.

Почему правители ненавидят пацифизм всегда и в особенности накануне безумства? Потому что все они по сути своей рабы глубоких атакистических инерций, на коих базируется и процветает вся сила и природа их власти. Посмотрите на Землю. Памятников убийцам и их коням на ней во много-много раз больше, чем памятников их антиподам.

15.1

...А вчера мне снилось, будто меня обнимал и целовал Станиславский-покойник, с которым я лично не был знаком при его жизни.

Пишу. Углубляю Мичурина. Кружится голова, и сердце болит, болит.

20.1

Начинает греметь «Молодая гвардия» А. Фадеева. Читают по радио, в школах, печатают. Автора выбирают в Верховный Совет Союза ССР.

И я рад его успеху, словно это мой собственный успех. Рад и доволен, что у Саши хватило сил и настойчивости поднять такой великий труд. Рад, что утихомируются литературные парвеню, пытавшиеся сдавать его в архив покойников и пьяниц.

Фадеев — крупный талант, и Фадеев — настоящий коммунист, и за это я всегда уважал его, при всех его неудачах

и длительных простоях. Начинается его второе рождение, зрелость.

Если не встрянет друг мой снова в «Удэге», отнявшего у него столько сил и времени, создаст безусловно что-то значительное и великое. Счастливо ему!

20. II

Сегодня закончил «Жизнь в цвету» — литературный и режиссерский.

Ни над чем еще так много не работал.

3. III

Вчера в «Советском искусстве» читал «Жизнь в цвету». Читать было физически трудно.

Очевидно, чтение произвело большое впечатление. Тепло реагировал и, выступая, тепло говорил мой друг В. Шкловский. И С. Герасимов. Очевидно, вещь содержит в себе какую-то магию. Ее одинаково сильно воспринимают все, кто читал или слушал.

23. III

Сегодня армяне снова благодарили меня за фильм «Страна родная», который я сделал для них, смонтировав его и написав сильный дикторский текст.

Они радуются, они приветствуют меня, эти культурные братья мои — армяне. Они говорят: «Мы все говорим, что так сделать о нас фильм мог только мастер, любящий свою Родину». Я слушаю этот высокий комплимент и плачу. Да, я люблю Родину, люблю народ свой, люблю пылко и нежно, как может любить сын, как дитя, как поэт и гражданин...

2. IV

203 Двадцать девятого марта читал в Союзе писателей «Жизнь в цвету». Читал целых три часа. Народ слушал как

завороженный. И только после чтения я заметил, как все были возбуждены и взволнованы.

Все встали и долго приветствовали меня аплодисментами. Я поклонился им, благодарный за внимание и уважение. И все же мне было очень грустно. В этих приветствиях, во всем было что-то похожее на демонстрацию. Я видел перед собой людей, радующихся моему произведению и моей трудоспособности. Радующихся, что я не погиб от удара грубого и жестокого кулака, не стал духовным калекой, хамом и лакеем, не впал в отчаяние и не проклял мир.

По Москве уже разнеслись слухи. Театры, шесть театров уже требуют пьесу. Напишу пьесу. Признаться, так не хочется ставить фильм...

Как припомню Потылиху — Майданек, все трудности, все ничтожество киностудий, жалко становится своего дорогого времени, которого не так уж много у меня осталось. Жалко.

■

— Хотя я в колхоз идти не хотел и ругаю я его в душе на чем свет стоит, — но защищаю я его, как свою жизнь, потому — он мой колхоз. А не чей-нибудь. Защищал и буду защищать, кто бы ни пробовал идти на него по земле, по воде, по небу, по воздуху или через дипломатическую почту...

В начале новой эры я в колхоз идти не хотел, это факт. И записали меня в него так, на ура. Ну, я крутился, крутился и так и сяк — не выходит, живет. Тогда я рассердился и не посеял.

Пропаду, думаю, и вас потащу с собой в могилу. Вот такой грех совершил невиданный, неслыханный. Боже ты мой, как начали мы помирать. Лежали навалом, как навоз (взяты из «Меры жизни» большую подробную сцену о Нечитайле,

Верещёнке). И вот с той поры решил я отнестись к моему нехотению критически. Мало чего я не хотел бы. Не те времена. Как не потечет Днепр вспять — не потечет назад и вся жизнь...

Он будет рассказывать, как его брат Оверко не давал Любченку хлеба и, когда тот пристал к нему, какой гордый выход нашел он из этого положения...

Так-то вот. Замечаю я над только что изображенной мною картиной веселую и лукавую улыбку недоверчивого читателя. Знаем, мол, все твои байки с коровой в бою и с кривым ружьем, которое из-за угла стреляет. Смейтесь, это меня утешает, очень утешает. Теперь жизнь еще пока так трудна и слез [нрзб.] пролито так много, что я согласен от всей души стать шутом, лишь бы вызвать улыбку друга своего — читателя.

Что же до печатания книжек Оверка, то я думаю так: пусть мое произведение будет густой яблоней, с которой каждый может сорвать по мере сил. Говорят, подлинно мастерское произведение несет в себе не один, а несколько смыслов, и верным всегда остается тот, который человек выбирает себе. Да и не в Оверке дело...

Впрочем, я рассказал о смерти Оверка не для смеха, а совсем с другой целью. Я хочу прославить в нем свой род.

Сила была. Сила в Оверке. И гордость, как у царя. Это был царь-парень с двумя орденами первой сотни Красного Знамени. Я его вижу вокруг во многих героях. Он и Берлин взял сегодня...

12. V

Я видел сон.

В поле хлеба, золотые, бескрайние. И небо такое синее, такое яркое, какого в жизни никогда не бывает. А если и

бывает, а если и кажется оно таким, то лишь в необычные времена. А было это небо и степь Украины.

А на переднем плане в хлебах стояли три молодые прекрасные девушки с серпами. Стояли в той одежде, в какую нынче не одеваются.

И плакали. Молча.

Небо, хлеба, девичья краса, солнце и горючие слезы трех несостоявшихся женщин.

А был это даже не плач. Была несказанная молчаливая тоска и печаль. Не скатывались слезы. Застыли в глазах.

Где вы?

18. VI

КРАВЧИНА

II

Один сын Кравчины, летчик, ас, знаменитый любимец всего фронта, попал в плен. Собственно, не в плен, он был убит в бою. Товарищи видели, как его самолет падал на вражескую землю, словно огненный язык. Он погиб, и все его оплакивали. И только через три года он явился живой из плена (прототип Б.). Его не приняли в армию. От него все отвернулись, никто с ним не знал. Почему ты жив? Почему не убился? Почему не умер за колючей проволокой? Ты жив? Ты жив — так не слуга ли ты «их» разведки и т. д.

Он жалуется отцу. И только в нем находит утешение Кравчина. Старый Кравчина посмеялся над сыном, как над маленьким мальчиком. Они дураки, лишенные человеческого воображения. И старик так рассказал ему о жизни, о счастье, о добре и радости, что он на минутку успокоился и уснул у отца на коленях.

Описать, как падал под Харьковом мой сын божественный. Как лежал он жареный на алюминии.

КРАВЧИНА

II

...Я видел сотни тысяч убитых моих товарищей. Они pokrыли своими серыми трупами бескрайние, бесконечные дороги от Кавказа и Волги до центра Европы. Они падали в канавы, на дорогу, разлетались в клочья, валялись в осенней грязи, как темные барельефы героев и великомучеников на царских вратах эпохи. Золотых воротах эпохи!

24. X

Написать целую главу, как один из сыновей Кравчины по какому-то драматическому поводу оплакивает судьбу народа. Этот плач велик, глубок и таков по содержанию, что где-то на вершинах перекликается с библейским плачем: плач, свидетельствующий о безупречности сыновней души, попадает в руки отца. Как Кравчина, внимательно прочитав его, удивляется, что парню лезла в голову такая чепуха. Он опровергает плач по всем пунктам. Все наоборот. Он смеется над всей этой тоской-кручиной. Сделать надо так, чтобы ясно было: он все это признал и все понял, только затаил понимание, чтобы не подать виду соседу или соседям. И только после, уже в одиночестве, посмотрел на небо, как Чабан в «Колючей проволоке», и подумал о сыне и обо всем.

27. X

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

III

Долго ругался Кравчина с канадскими солдатами.
И вот один из них вдруг...

— Дяденька, а скажите мне, стоят еще над Ворсклой три вербы, там, где мы гуляли, бывало? Стоят они над водой, эти вербы?

И заплакал. Только их унтер не знал, чего они...

Тогда Кравчина пожалел их, почувствовав, что, где бы человек ни таскался, как бы ни тонул в разварте и безверии, а все остается человеком.

13. XI

Окончания своих картин я не смотрел никогда. Как-нибудь просмотрю все подряд. Я бежал от них, и все в них ошибки, от которых сотни раз переворачивалась моя душа, и недоработанные места, и недостаточность труда и таланта я знал лучше всех. Так работающая мать-украинка знает каждую веснушку и все родимые пятнышки под рубашонками и штанишками своих озорников детишек и по давнему украинскому обычаю на вопрос: «А чьи же это такие детки славные?» — отвечает: «Вон те? Да уж не мои ли, чтоб им ни дна ни покрывки!»

Как, очевидно, и все художники, я видел у себя больше ошибок и всегда не там, где замечали их большеухие критики, налеплявшие на меня свои жалкие книжные ярлыки и клеймившие мою измученную шкуру таврами различных измов.

31. XII

[...] Сегодня сдал Комитету искусств «Жизнь в цвету». Принимаюсь за «Хату» или за «Меру». А не взяться ли за «Повесть пламенных лет», — может, сделаю еще хоть что-нибудь?

Как мне хочется создать чистое и высокое произведение, хотя бы одно долговечное, хоть одно звено бытия, одну каплю бесконечного.

1947 год

29. III

Благословен день!
Сегодня ко мне в окно заглянуло счастье.

Я придумал победу тепла над холодом, жизни над смертью. После смерти Ленина весной: половодье, ледоход, половодье, цветут цветы, растут корни, половодье, сады в цвету, с панорамами, необычайные торжества в небе, весенние облака, потоки в цвету, перелетные птицы в небе.

Гимн жизни.

Музыка, и всем этим дирижирует Мичурин, вдохновенный и счастливый.

В душе творца расцветает радость. Его юность и любовь проходит среди воспоминаний весны.

И непременно первый весенний гром. Пусть сливается он с музыкой в сердце...

Все время на различных художественных советах сравнивают цветное кино с живописью.

Неверное, поверхностное сравнение.

Живопись статична. Цвет в кино процессуален, динамичен. Он в обстановке непрерывного движения. Поэтому цвет ближе к музыке, чем к живописи.

Он — зрительная музыка.

И так же как никакой аккорд не делает музыки один, не делает фильма и один цветовой комплекс.

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

III

Одна из тем, из линий «Золотых ворот», из тернистых троп — тема «перемещенного лица».

Развертывая большую трагедийную повесть двух лиц: одного, погибающего где-то, и другого, возвращающегося на родину, следует изобразить весь гигантский хаос аморальности аморального мира середины XX столетия. Кто эти лица?

Одна может быть дочь Кравчины.

Или сын?

Или, быть может, сам Кравчина?

Лучше один из сыновей. Пусть вокруг его судьбы сплетется все, что пришлось мне продумать, читая выступления Вышинского на всемирном сборище шарлатанов и негодяев.

Перемещенное лицо — объект испытаний всех новейших видов оружия — химической, биологической и атомной бомбы.

Написать большую главу абсолютно детально, как он разряжал мину или как пробовал биологический яд, что с ним сделалось, как ему было больно или не было больно, что он думал о работе или о смерти, скорее всего, очевидно, о

работе, о механизме. Как произошел взрыв и как он разлетелся в прах, как его не стало. Совсем. На десяти страницах описание этой ультрамикромиллионной доли секунды.

И написать, что такое мир без меня. И что такое страдание. И вообще чувство.

16. XI

Раненый. Перед смертью в последнюю минуту (нпл.*).
Рассказ о рождении его.

Рождение человека

Какое великое торжество в мире — родился человек. Какая красота и чудо! Музыка матери.

Родовались и величали Мать и его.

Величание ребенка

Приговаривали: расти такой-то и такой-то.

Человек родился для любви, радости.

Не гений ли он, этот ребенок?

Почему не стать ему гением? Какие родители и весь род!
Деды, прадеды.

Как любили друг друга отец и мать смолоду, как желали любви друг друга.

Он родился зимой. Ему пели щедрик**: «Проживешь ты век счастливо».

Всю дивную поэзию песни о радости рождения.



«Душа моя, душа моя. Очистилась ты в страданиях, умывшись кровью? Украсила мир? Поедом ела друга своего в Европе в середине XX века. Ох, ох...»

«О поле, поле. Кто тебя усеял мертвыми костями?» Немой страдалец умирает. Музыка и потрясающие диалоги или монологи. Мировое звучание.

* Наплыв?

** Щедрик — род обрядовой величальной песни.

МАРИНЕ ОЧЕНЬ ТРУДНО

1. Она образцовая труженица.

2. Ее люди уважают.

3. Скидан ее любит.

— Как я счастлив. Ты вернула мне счастье, Марыся.

Я стал таким сильным с тобой.

— И я.

4. Но ее замучила подозрительность, ощущение неполноценности.

5. Угрозы.

6. Шантаж.

Ему и ей хочется иметь много детей. Хочется творить так, чтобы каждый день разрываться на десять частей и каждая чтобы действовала и познавала мир. И преобразовывала мир.

— Ты счастлив, Петро?

— Да. Сегодня я говорю Гусаку: все равно я уничтожу тебя.

— Не трогай и бойся его, заклинаю. У него рука в рай-
коме. Ты, говорит, улыбаться не умеешь... Ну-ну!..

— Ты не умеешь улыбаться.

— Петро, скажи, а когда настанет полный коммунизм, люди будут страдать?

— Да. Будут любить — будут и страдать.

— Я так страдала вчера, когда ты запоздал; ты стал меня подозревать.

■

В общественной деятельности игнорируется прошлое.

В ней весомо только настоящее.

■

Не будь наши писатели столичными птицами, они знали бы, ежели у них есть глаза, чтобы видеть, как горько до-

стается колхознику трудовой его героизм, тот самый, что приносит славу писцам красноречивых тирад.

— Оставьте. Если хотите знать — сама честность оборачивается иногда пороком, если пользоваться ею ошибочно.¹



Ульяне необходимо сделать монолог, глубокий по смыслу и чистый по форме. Надо поднять ее трогательный образ над бытом, предоставить ей возможность раскрыть свою душу в глубоком внутреннем самосозерцании.

Что-то вроде монолога «Не покладал я рук».

Может быть, именно:

«Не покладала рук».

Нет, рано.



1. Что о нас говорят? «Не доверяйте мужику. В нем до сих пор ещё сидит собственник и т. д. А кто больше отдал державе? Мы или наши злопыхатели?

Обобщить: войну, кампании, давай-давай, кровь, пот, хлеб, молоко, мясо, одежду, деньги.

Спи на голой доске.

2. Моя республика. Мой мир. Мое будущее! Но почему и до каких пор я буду думать по шпаргалке, говорить по писаному, любить только ударника, стремиться только к поголовью, радоваться только перевыполнению, жить только зажиточной счастли[вой] жизнью. Где мое счастье? Кто возличил меня в страдании? и т. д.

КОНКРЕТ[НАЯ] ЦЕЛЬ. ОБЩ[ЕЕ] СОБРАНИЕ

Доработать сцену общего собрания. Принятие в колхоз Нечитайла и Выступление Царя. Точно определить и драматургически оформить цель собрания. По-видимому, она сводится к решению одного из многих «простых» колхозных, земельных и пр[очих] организационных дел. Тогда все написанное придаст сцене необычайную острую и жизненную правдивость.²

Кулацкая фамилия —
Скоробогатько
Дубенко
Рубленко.

■

После блестящей речи.

- Ну, чего лезешь?
- Не лезу я, а иду по-человечески.
- Что надо?
- Скажите, а нельзя?
- Нельзя.

УЛЬЯНА О ЗАГИНАЙЛЕ

— Тыфу ты, и что это за человек? Выйдет на трибуну, глянет поверх людей, да так красиво, славно говорит и долго, что плачешь и не знаешь, на небе ты или на земле. Эге. А слезет — волк. Ни подойти, как говорится, ни подъехать. Уж такой угрюмый, неуважительный, прямо страх. Ей-богу.

— Образование у него, говорят, высшее, а среднего нету — дырка. А воспитание — низшее (дописать).



Вспомнить разговор с моим отцом. Как он молодым, еще девятнадцатилетним парнем ездил в Каховку к Фальцфейну на заработки.

— Ехали на лодке до Днепра, по Днепру до Каховки, а там уж лодку продавали.

— А как же вы переправлялись через пороги?

— А так и переправлялись. На лодке.

— А кто же правил?

— Я и правил.¹



Наплыв. 1887 год. Плызут по Днепру из Десны двенадцать хлопцев, только не в Царьград, а в Каховку, наниматься к Фальцфейну. Каховка. Рынок рабочих и т. д.²

Следовательно, можно использовать, начав со старинных песен.¹

Наплыв: достать песню древнеисториче[скую].²

28. III

М а т ь. Вот как хотите, а будет снова война.

М ы. Неужто?

М а т ь. Вижу. Вот помянете мое слово.

М ы. Что за примета?

М а т ь. Юбки вновь становятся короче у женского пола. Уж сколько я за свою жизнь замечала— становятся юбки короче, задираются, поднимаются, поднимаются. И уж как выше колен — сразу война.

Потом опустятся, станут подлинней — и война затихает, замирение.

Так вот тут, заметьте, то было опустились, а потом опять давай задираться. Будет война. В Америке, говорят по радио, уже так задрались, что только воевать. Ну что ты сделаешь... Не смейтесь, вот увидите.

По окончании картины * сразу же написать книгу о своей жизни в искусстве.

Написать подробно и абсолютно откровенно, как труд фактически всей жизни, с большими экскурсами в биографию, в детство, в семью, в природу, вспомнить все факторы, создавшие и определившие вкус, тонкость восприятия.

Что создало меня как мастера кинематографии?

Какая литература? Классика? Живопись?

Или, быть может, песни и думы? Или впечатлительность бездонная и бездонная фантазия? Или зачарованная Десна.

Как я шел на съемку, не готовясь, не нуждаясь в этом. Мне все становилось ясно с начала создания сценария.

Я просто повторял процесс. Я мог снимать когда угодно, с какими угодно артистами, никогда не гонялся за знаменитостями.

Кино как способ общественно-политической деятельности.

Мои поэмы — мое настоящее.

Я творил, что хотел, что думал. Я в самом деле был свободным художником в своем искусстве.

Политическая обстановка на Украине. Все ее перипетии. Культурная жизнь.

Мои интересы за пределами кинематографии. Кем бы хотелось быть, к кому себя причислить.

Езда на киностудию в Одессе.

Бегом Киев — Шулявка — высшая мера.

Потылиха. Ничтожество и красота.

Фантазерство.

Мои проекты перестройки жизни, хозяйства, города, планов садов, архитектурных ансамблей.

* Очевидно, фильма «Мичурин».

Комедия. Любовь к комедии.
Неосуществленная мечта жизни. Все наоборот.
«Царь» — мой лучший непоставленный сценарий.



Просмотры фильмов в Харькове, Киеве, Москве.
Звенигора. Арсенал. Земля. Заворошка вокруг просмотров. Диспуты.

Как я снимаю в селе Яреськи. Народ. Думы. Меня приглашают на должность председателя колхоза.

Кто мои герои? Отец, мать, дед и я.

Я — Василь, Щорс, Боженко, Мичурин.

В «Земле» умирает мой дед. Шкурат мой отец.

Я — парень, сидящий с девушкой на завалинке.

Я — Кравчина, Орлюк.

Как мучился я и проклинал администрацию, выматывающую мои нервы, мою душу, все мои силы своим ничтожеством.

Какое разочарование испытывал я по окончании картины.

Почему я никогда не смотрю свои картины.

Мои документальные фильмы. Западная Украина. Выступления. Война. И вся моя трагедия военного времени.

Одно скажу: хоть я сделал картин и немного, однако с того времени, как раскололся мир и Ленин стал на стороне человеческого, не покладал я рук.¹

5. IV

«ЖИЗНЬ В ЦВЕТУ»

Вот уже несколько лет влачится моя «Жизнь в цвету». Я написал ее как повесть и как пьесу. Я выстрадал ее как цветной фильм, выколотил палкой и выстонал, изнывая от приступов стенокардии и тупого бюрократизма. Потом, когда все наконец с таким предельным трудом было сделано, когда картина

стала жить и радовать даже искушенных снобов, я попал в странную мистическую полосу ее обсуждений в художественном совете Великом. Потом министр куда-то бегал с нею и каждый раз требовал все новых и новых купюр. Потом, когда она уже была раздета догола и изрезана, ее показали Великому вождю, Величайшему из смертных с тех пор, как создан мир, и Величайший отверг мой труд...

Тогда меня спас от удушья Жданов. После встречи с ним я, казалось, ожил. И хотя пьесу тоже удушили вопреки его мнению, я отдыхал как будто бы в Барвихе недели три и возвратился оттуда снова больным.

Меня уже снова разбирает киноорганчик. Я сижу день-деньской за столом.

Я должен отрицать созданное, ненавижу то, чем восторгались, что сложено из многих тонких компонентов. И воссоздать произведение-гибрид — старую поэму о творчестве и новую повесть о селекции. А сердце болит. И часто, уходя от стола после целого дня трудов, я оглядываюсь на сделанное — как его ничтожно мало.

А усталость такая, как будто целый день ворочал камни в беспокойстве...

25. XII

Он не был человеком искусства. Все в нем: походка, манеры, скучное, неумное лицо и такой же скучный голос — все было противопоставлено, казалось, его посту.

Когда вы разговаривали с ним десять минут, вы начинали чувствовать, что вы глупеете. Он был похож на большой рояль, в котором почему-то играли только три клавиша. Остальные выстукивали распоряжения.

Всякая настоящая минута его жизни без остатка вытеснялась следующей минутой. Нет для него ни опыта, ни предания, ни возможности нормальных умозаключений.³

1948 год

7. II

Что со мною случилось? Я словно разучился писать. Пишу статью для «Литгазеты» о суде над «Летр франсез» и два дня не могу собрать мысли, не могу пошевелить пером. Не написал еще и страницы, а устал так, словно камни воро- чал на трудном пути, и сердце болит, и грусть объемлет душу. Нет, верно, не редакциям я принадлежу, а докторам. И тормоз в писании — это моя травма, которая уже никогда не покинет меня. Ловлю себя на мысли: так и кажется, что стоит за плечами мой грозный критик и рассматривает бес- сердечным оком каждую мою букву и каждую запятую, нет ли измены и подкопа. И я, вместо того чтобы писать, мучаюсь.

Я уже воспринимаю мир как мучение. Я понял: мечта из- меряется глубиной внутреннего потрясения всей души, а не

только гнетом внешних обстоятельств. Я мог бы долго жить и творить много только на основе блага, на основе позитивных стимуляторов.

18. IV. 48

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Порезав палец, мальчик сперва заплакал, забегал, потом, немного погодя, когда перестало кровоточить, подошел к калеке.

— Бо-бо!

Калек сидел на завалинке, протянув вперед свою единственную ногу и костыли. На груди у него был немалый иконостас.

Гляди, мол, и у меня уже кое-что есть, и хотя было больно, но не очень. Придет время, и мне повесят вот такие золотые игрушки. И отрубят, может, ногу или руку. Пускай. Вот какой я мужчина.

Человек посмотрел на мальчика и нежно засмеялся. У него чуть слезы не выступили на глазах. Куда только подевалась и грусть и жалость. А увечье показалось ему естественным, как брак или работа. Как непереманный атрибут жизни.

Мальчик смотрел на его медали, зачарованный красотой. Он был горд и силен. Готов к подвигу. Он успокоился. Он видел, что дяденька понял его. Он полюбил свою рану и уже гордился ею.

1. V

Есть города-герои. Киев — город-мученик.

Киев — гениальный город, гениальное место. Киев — нищий, разрушенный восемьюстами лет своей исторической драмы.

Описать подробно красоту его вечеров и ночей. Днепр и горы. Улицы. Воздух. Весну, вешние вечера.

Написать, как я переделывал его двадцать лет. Посвятить этой ежедневной перестройке Киева досконально разработанную главу, словно это не в книге кинорежиссера, а в диссертации архитектора города и ландшафта. Принципы перестройки, согласно характеристике местоположения, динамике эпохи и общей характеристике эпохи. Отдельные улицы, площади. Высотные точки. Панорамы. Ансамбли. Отдельные разработки: Крещатик, бульвар Шевченка, Владимирская, Новая Софиевская площадь, объединенная с площадью Калинина. Виадук. Мост через Днепр и его архитектура — мост-история в скульптуре.

Образцовые села под Киевом — Вышгород, Межигорье, Ходоров.

Евбаз — площадь с озером. Памятники.

Памятник народу. Памятник герою. Памятник женщине над Днепром.

Библиотека. Горсовет. Отсутствие иерархических атрибутов. Материал. Цвет. Национальные признаки в стилевом выражении. Новая роль золота и купола.

Написать проекты памятников на площадях. Сады — фруктовые на площадях и улицах — принципиально.

Виноград на песках под Киевом на базе системы искусственного водоснабжения.

Город Киев — сад. Киев — поэт. Киев — эпос. Киев — история. Киев — искусство. Киев — поэма. Киев — наиновейший город коммунистического общества. . .

Трактовка памятника Ленину: размер, материал, точка, выполнение.

1949 год

25. IV

ВЕЛИКАЯ БОГАЧКА

Псел. Улица Богачки. Люди. Вид с горы. Там мы хоронили Боженка, несли в хлебах мимо луга. Торжественные панорамы под героическим небом, под тучами такой красоты и такого пафоса всемирных единоборств гигантов и пророков, что песню «Как умру, похороните» нельзя было петь и артисты дрожали от волнения и пели глухо сдавленными голосами, а Боженко лежал у них на плечах на своих носилках и плакал не актерскими, а настоящими слезами. Впервые за долгий век лицедейства очутился он на таких просторах перед лицом вечности, и прибитая пылью и ничтожеством многолетних мелочей душа его словно вырвалась из окон и вознеслась к тучам, ужасаясь, и плача, и радуясь трепетно, что она (душа) причастилась великого.

Как люди глядели на нас, не зная, что происходит, и, однако, вполне понимая своим тонким народным чутьем, что совершается нечто серьезное и глубокое. Потому что никто нам не помешал ни одним словом.

Мы возвращаемся в хату. Это — царица хат. Была она большая и простая, с большой стрехой зеленого бархата.

Землекопы и их лошади. Я вхожу во двор к землекопам. Теплая, звездная, прославленная в песнях украинская ночь. Над нами бездонное небо, торжественная вселенная. Разговор с землекопами.

Как начался он, как потек рекой по всем вопросам. Вот так и ночь прошла, и начало рассветать. Вдохнул один красавец (всех их уже стало видно).

— Спасибо вам, дай бог здоровья. Не то что всю ночь, всю жизнь тысячи верст шел бы за вами, лишь бы слушать.

12. VI

1. Написать рассказ о народной медицине, о Серее и шуке.

2. Рассказ о сержанте Швеце. О его ненависти к немецким захватчикам.

3. О гибели богов.

4. О Шостаковиче.

5. Сон Святослава.

6. Сон писателя.¹

16. VI

РОКОВОЕ МГНОВЕНИЕ

Рассказ

О художнике. Сделал грандиозное произведение искусства. Все в нем было необычайно. Все было приведено в такое гармоническое сочетание — сюжет, игра, композиция, цвет, правда, — что люди плакали от неизъяснимой растроганно-

сти. Словно кусочек неба опустился на землю в виде лестницы. Вот в этом состоянии, весь еще во власти этой внутренней гармонии, достигнутой величайшим сосредоточением всех физич[еских] и душевных сил, и явился я к начальнику. Нач[альник] показал уже произведение там и был обласкан. Поэтому он обратился и к художнику с чем-то в этом роде. Но душа у него была бедная. Он был похож на рояль, у которого звучали две клавиши. Остальные могли выстукивать только приказы.

— Да, вы знаете, хорошо вы сделали картину. Картина получилась. Вы знаете, вы можете лучше всех работать. Чего вы смаетесь? Не верите? Напрасно — у вас всегда что-нибудь... Не понимаете вы, вот что... жизни не понимаете, жизни. Вам бы полечиться надо... да, месяц. Месяц полечиться, потом это... отдохнуть и почитать немножко, поработать над собой. Очень хорошие краски, да. И пр. и пр. Все. Можете идти спать.

Он так привык не уважать, что даже когда не похвалить было нельзя, он хвалил так, словно делал выговор.

Художник пошел домой. Ему захотелось повеситься. Но он не повесился. Повесилась, примерно, удавилась безвозвратно часть его души.

Этот надувшийся, жестокий и безнадежный, пустой микро-человек сделал все для того, чтобы художник почувствовал себя меньше и ничтожнее его. И он каким-то непонятным образом достиг этого: то ли бесцветностью, скукой своего голоса-автомата, подбором слов, жестов, отчужденностью и глубоко припрятанной ненавистью и пр. Художник поминутно глупел, молчаливо пошлел, уменьшался. Опустошенный ушел он домой и не проклял даже жизни, умер. Этот процесс уменьшения тянулся — 10 лет, гигантское, $\frac{0}{10}$ в тридцать. Остальная часть (нрзб) и продолжает творить.

Ему показалось, что он ни на что уже не способен, что он лишен малейшего проблеска мысли. Чувства его также

стали ничтожны и тусклы. Он забыл о своем произведении, словно и не создавал его вовсе.

Он не понял, что начальник намеревался его то, что называется, похвалить. Но и хваля его, он словно делал выговор.

Он нуждался во встречном движении души, как дошедший до последней стадии жажды, нуждался в капле воды. Но у нач[альника] не было души. А надо было сказать одно тихое слово — спасибо. Но для этого слова надо быть человеком.

■

«Самые великие события, проникая в их сознание, приравнивались к их мерке и становились столь же ничтожными, как и они сами, жалкие рвачи-режиссеры, угодники и лакеи».

■

Его лицо, широкое и грубое, и грубая фигура свидетельствовали о вреде, который приносит сидячая жизнь, затворническая, канцелярская, людям, созданным для здорового физического труда.

Он был превосходный работник, не слишком далекий, лишенный всякого воображения.

■

«Нет лучшего средства поднять воинский дух генералов, как приговорить к смерти одного из них». А. Франс.

■

Словом, это был человек не хуже и не лучше других. Безупречность чаще всего дело счастья, а не свойство и результат добродетели.

■

Телеграфный столб — отредактированное дерево.

■

Знакомьтесь — вот мое прямое, как палка, начальство.

■

— ...И этот вот человек!..

— Я не человек. Я инженер.

■

Он был сутуловат и смотрел всегда в землю. Говорили, что еще мальчиком он нашел двугривенный. Это, казалось бы незначительное, событие и испортило его на всю жизнь.

ОРГАНЧИК

Это был средний, ординарный человек, назначенный случайно на неординарный пост. Поэтому он перестал быть средним и ординарным. Он превратился в нечто в своем роде из ряда вон выходящее.

Поскольку он был дурак, все качества его, даже средне-положительные, превратились в свою противоположность.

Даже его честность, которую признавали за ним выше-стоящие, и та обошлась государству миллионов в 20. Назначенный на пост директора Госбанка, он пятнадцать лет, по сути говоря, ощущал себя в своем габарите подлинном, то есть начальником областной сберкассы, и берег копейку.

ПШЕНИЦА

Сценарий художественного фильма на одну из главных тем современности.

Действующие лица: т. Сталин, колхозники — передовики сельского хозяйства, рабочие, ученые, художники слова и кисти. Политики вражеских стран.

Временный аспект: прошлое от времен Ассирии и Египта, настоящее и будущее. От «проклятия Адама» до многолетней пшеницы и ветвистой пшеницы Сталина — Лысенко.

Торговцы голодом на съезде экспертов хлеба в Канаде требуют, чтобы Советское правительство запретило Лысенку заниматься ветвистой пшеницей, появление которой на полях может резко снизить цены на хлеб и «вызвать хаос в мире».

Американское правительство отказывает голодающему народу Индии в помощи хлебом. «Отдайте свои ископаемые богатства и умирайте от голода».

Неомальтузианцы, клеветники, растлители земли, мечтающие об уничтожении трети человечества на мнимоперенаселенной и мнимоистощенной планете.

Мы — советский народ, правительство, ученые, творящие великое дело преобразования земли для блага всех народов мира.

17. VII

Как тяжело болит сердце. День и ночь, неустанно, неумолимо. Тяжелое, словно в нем сто пудов. Болят руки. И в груди такая боль и до того я обессилел, что не могу не то что ходить, даже сидеть; лежать и то трудно. Неужели настал мой смертный час?

Пишу сценарий. Работать трудно, как никогда. Постоянно чувствую, что боль в сердце не позволяет думать, не позволяет ощущать жизнь, не дает даже писать, водить карандашом или пером по бумаге.

Если бы мне посчастливилось написать как следует этот сценарий. Я, быть может, откажусь его ставить. Я должен долго лечиться, если можно еще лечиться.

18. VIII

ФУТБОЛ

Написать рассказ о футболе. Как я был на футболе в 1938 году, что я там видел, что слышал и что говорил. Вне-
сти в «Футбол» вставной рассказ об Н.

И закончить рассказ сложным ходом мыслей, возникших у меня тогда. Вот отчего я до сих пор ненавижу эту глупую и темную игру.



Оглядываюсь, как я постарел.

Вроде не успел и осмотреться, и вот уже полстолетия унеслось вдаль, как один день. Как я жалею, что не успел написать самое главное. Все как будто некогда было. И как теперь браться за перо? Что я знаю? Молодежь от меня далеко. Начать писать о стариках, о старом времени.

1949 год

Тихая, добрая, честная посредственность, приятная и ласковая.

Лет 45. Бригадир. Имеет медаль.

Был на выставке в Москве.

Назначается на должность председателя колхоза, но для этой должности у него недостает ума.



У него жена и дети, сын и дочери.

Сделался постепенно нетихим, недобрым, нечестным и неприятным, злым.

Сделал несчастными почти всех подчиненных.

1. Завел кабинет. Кресло. Телефон, секретаря.

2. Очередь. Без очереди не принимал.

«Ну как? Видел, какая очередь?» Очередь как знак, атрибут власти.

3. Охрана. Чтобы не убила международная контрреволюция.

4. Подхалимы. Борис Петрович Подхалименко.

5. Работал ночью. Вызывал бригадиров на доклад ночью.

6. Электрифицировал собственный дом. «Каждому по потребностям».

7. Портреты вождей. Скульптуры.

8. Письменный стол.

9. Карта мира. Карты колхоза нет.

10. Цитаты.

11. При немцах сидел в погребе.

12. Пишущая машинка.

13. Прошу подать в письменной форме. «Сбесился».

14. Его стали бояться как огня.

15. Все знал. Обо всем мог говорить.

16. Дети относились к нему критически.

17. Перед молодежью. Эх, мы были когда-то. Я за бандитами гонял в семнадцать лет.

18. А мы, бывало, в окопах, знаешь как...

19. Развалил колхоз. Некому стало работать. Все служащие.

20. Учитель. Неуважаемый.

21. Все родичи в доярках, снабх, плановиках.

22. Когда его сняли...

23. Грандиозная сцена освобождения от должности.

Как страшно: я — никто.

Ты и был никто.

24. Оказалось, что назначили его ошибочно.

25. Больше всего на свете любил запрещать.

26. У него приятель и друг «непропускатель», бывший сторож закрытого распределителя.

26(а). Мечта — сделать лучший в Советском Союзе колхоз.

27. Рыба всегда тухнет с головы.

Так вот, чтобы рыба (колхоз) была здорова и свежа, я хотел, чтобы была здоровая культурная голова — председатель.

28. Он не знал, за что его судят.

29. Свидетели — вдова, которую он вызвал ночью на допрос: почему напилась?

30. Он копировал великих.

Мой колхоз.

31. Он чувствовал себя вождем села.

32. Если ты стоишь во главе, не подпускай никого близко (пафос дистанции).

33. Манилов: мечтал объединить 3 колхоза под свою власть, мельницы, электростанцию. И будет стоять всю жизнь.

34. Он возвеличился.

35. Огромный аппарат.

35 *. Никому не доверял. Учинил контроль над контролем.

36. Считал, что народ надо «держат в руках, чтобы боялся».

37. Проходя по селу, ни с кем не здоровался. Зато требовал, чтобы все снимали шапки.

38. Свидетель-старик: «Василь Федорович, к вам прибыло начальство».

— Ну и что ж. Приехало, так пусть меня найдет.

39. У него не было карьеризма. Он был лишен высокого идейного уровня.

Василь Федорович Ступак.

40. «Мой колхоз». Мое, моя. Мы. Мои люди. Неокулак.

41. Все открылось после постановления ЦК о нарушении устава сельскохозяйственной артели.²

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛИТЕРАТУРНОЙ РАБОТЫ

1. Мера жизни — народная эпопея. Пьеса.
2. Над Днестром — драма.
3. Заместитель дурака — драма.
4. Молодая кровь — комедия.
5. Святослав — драма.
6. Украина в огне — киноповесть.
7. Жизнь в цвету — киноповесть.
8. Повесть пламенных лет — киноповесть.
9. Щорс — киноповесть.
10. Победа капитана Кравчины — киноповесть.
11. Надежда — киноповесть.
12. Царь — киноповесть.
13. Гибель Чарли Чаплина — киноповесть.
14. Робинзон — киноповесть.
15. Проститутка — рассказ о загубленной жизни девушки,
которая много любила.
16. Заколдованная трибуна (рассказ).
17. Тавро столетий (рассказ).
18. Незабываемое (рассказ).
19. Мать (рассказ).
20. Тризна (рассказ).
21. На колючей проволоке (рассказ).
22. Ночь перед боем (рассказ).
23. Отступник (рассказ).
24. Дантовы души (рассказ).
25. Смерть девушки. «Ой, во поле рожь».
26. Плач в степи.
27. Плач в саду — под Харьковом во время боя.
28. Плач в хате — в хате полно усталых и раненых бойцов.
29. Генерал и учитель — рассказ.
30. Воля к жизни — рассказ.

31. Народная медицина — рассказ. Середа. Д-р Хоршак.
32. Странная. О Марии Власенко, художнице (рассказ).
33. Заслуженная художница (о Ганне Собелко) — рассказ.
34. Межигорский Спас — рассказ.
35. Золотые ворота — рассказ о Богуцком.
36. Меджибожский замок — путешествие (рассказ).
37. Арестованный музей (рассказ). Пелерина. Охрана. Ревизия. Сабли.
38. Моление о пуле. Черное и белое. 2 рассказа. Фрол. Ярем[чук?]. Верш [нрзб].
39. Шестьдесят девичьих проклятий — рассказ.
40. Рожденный ненавистью (о Швеце) — рассказ.
41. Корень жизни. Женьшень в теплице. Рассказ.
42. Распял его. О партизане Яремчуке — рассказ.
43. Вынутая из петли — рассказ.
44. Зачарованная Десна — рассказ.
45. Камни кричат (Шеремет)! О девичьей судьбе — рассказ.
46. Разговор человека со зверями. Исторический диалог.
47. Доктор Кураев. Рассказ.
48. Доктор Труба. Рассказ.
49. На большой дороге. О безногом старшем лейтенанте нищем. Его бросила жена. Двое детей.
50. Гибель богов.
51. Мертвый захохотал. Рассказ Панаса о буденновце, который сделал себе хакири.
52. Хлеб. Рассказ Павла Нечая о том, как и почему он съел хлеб в полночь.
53. Провинциальная история. О хорошем комсомольце, который стерег Панаса.
54. Письмо на тот свет. Старой женщине-украинке, которая умерла от печали после просмотра «Битвы» в Канаде.
55. Амнистия (как в великую эпоху маленькие люди судили о большом деле).

1951 год

17. II

О ЗОЛОТОМ КЛЮЧЕ

Недавно В. Шкловский встретил меня в Союзе писателей, говорит:

— Я думаю, что наиболее поражающее глубиной и верностью основного и главного, что было и есть в нашей жизни, — это место в «Щорсе», где богунцы мечтают о будущем, в особенности Чиж — парень-богунец с полуобнаженной шашкой. Вот ключ, который кинематография должна была поднять, чтобы открыть им доступ к величайшим делам... и не подняла, подобрав отмычку противоположного назначения. . .

Помнить об этом ключе.
Все так забыли о нем, словно его и не было на свете.
Помнить об этом ключе...
История Каховки.
Зарплата. Болезни. Заработки.
Как это выгодно для производства...¹

7. VI

ТЕМА РАССКАЗА

В городе разрушена главная улица. Разрушили ее враги во время войны. Весь город принимает участие в уборке мусора в течение трех лет. Всем представлялась воссозданная новая улица с прекрасными домами.

И вот начали строить первый дом. Этот первый блин строил самый влиятельный архитектор, обладающий при всех своих бесчисленных совершенствах отсутствием вкуса.

Дом был столь ничтожен, что вызвал бурю негодования. Негодование, язвительные остроты, возмущение, гнев не только специалистов, а всего народа, всех проходящих, какая-то непримиримая вражда к не оправдавшему ожидания дому свидетельствуют о росте народа, заложенных в нем от природы богатствах, ненависти к «мертвым камням».

8. VI

ШВЕДЫ

Написать повесть. Пленных шведов при Екатерине гонят в ссылку с островов Балтийских на юг Украины. Часть по дороге гибнет. Село Шведовка. Прошло 200 лет. Шведы в колхозе. Немецкая оккупация. У шведов-колхозников нейтралитет.

После войны шведское правительство потребовало репарации. Наше правительство согласилось. Плебисцит. Агитация. Патриотизм. Смятение чувств. На родину!

Пароход в Одессе «Швеция». Турне вокруг Европы. В портах киносъемка, хроника, репортажи. Антисоветский бесстыдный бред.

Швеция. В порту митинг. Торговцы патриотизмом. Поселяют шведов в горах на убогих каменистых клочках. Убожество и отсутствие перспектив. И все постепенно стало на свое место. Все маленькое, а главное — нет простора жизни, нет полета, нет великой цели. Они духовно стали оскудевать. И тогда они поняли, что потеряли. Бунт молодежи.

Назад на родину. «Хай живе Радянська Україна!» Снова пароход, на этот раз наш, советский, «Украина», везет шведов на родину уже из Швеции. Те же митинги в портах Европы, только все наоборот. Приехали на родину и стали строить коммунизм.

22. VI

«ПШЕНИЦА»

Все, что я думаю по этому поводу уже много лет, представляет из себя тему исключительную, вытекающую из нашей действительности с такой силой убедительности, с какой вытекло и разлилось по миру многое новое из учения Маркса — Ленина, претворенного в жизнь.

Здесь и политика, и наука, и драма, и конфликты на почве новых отношений между человеком и обществом. Здесь все элементы советского общества — колхозники, рабочие, ученые, политики, художники. Прошрое от времен Египта и Ассирии и будущее. И настоящее. Голод и политика. «Дядя, дядя, дай хлебушка» и потопление пароходов с зерном, сжигание зерна. Роман, Драма, Фильм — все, что угодно. Но, конечно, Роман,

«ПШЕНИЦА»

Все силы природы, в том числе и насекомые, — на повышение урожая, на создание изобилия. Американские империалисты перебрасывают в Европу колорадского жука.

Преобразование природы для счастья Человечества сейчас в нашей стране является действительностью.

Ветвистая пшеница — символ изобилия освобожденного человечества. Торговцы голодом на съезде экспертов хлеба в Канаде. Требовали, чтобы, прежде чем идти на соглашение с Советским Союзом, надо потребовать, чтобы Советское пр[авительство]во запретило Лысенку заниматься ветвистой пшеницей, появление которой на полях может резко снизить цены на хлеб.

Профессор Корнелльского у[ниверсите]та Уайдер предлагает выслать в Атлантический океан и Средиземное море корабли с особой аппаратурой для того, чтобы вызвать преждевременные дожди и потом засуху в Европе и Азии.

Капиталисты по-своему занимаются «преобразованием природы». Некто М. Гейнсиус в журнале «Онс маер»: «Благодаря научным исследованиям в области биологии, никто не может отрицать возможности того, что в будущем от голода может вымереть весь континент. Американцы и японцы имеют успехи в области создания бактериологических средств для уничтожения кормов и посевов в той или иной стране. Путем отравления всей почвы можно добиться умерщвления всего народа». Вот мерзость.

23. VI. 51

«ПШЕНИЦА»

Пересмотреть весь материал пьесы «Мера жизни» применительно к содержанию и элементам сюжета.

туру. История земледелия. История пшеницы. Политика пшеницы. Голод. Заповит умирающего батька своему сыну.

Украина — пшеница — Лысенко — строительство коммунизма — Сталин. Лысенко — сибирские пшеницы. Яровизация. Теория стадийности.

ВЕТВИСТАЯ ПШЕНИЦА

Многолетняя пшеница — мечта преобразователей.

Цицин Николай Васильевич. Беседы с Николаем Васильевичем. Первое посещение (очень подробно). Разговор с Горбуновым у пшеницы на поле под Москвой. Разговор о счастье. Незабываемый.

Разговор с Виктором Ивановичем О. по поводу многолетности и пр.

Пшеница политике.

Рождение Темы. Истоки драмы. Двое смотрят вниз двадцать пять лет. Один увидел счастье. Другой нет.²



В этой правдивой истории почти нет действия. Действия происходили раньше. Они были так ужасны, что едва ли следует читателю, находящемуся ныне в огне в самом аду событий, становиться даже книжным свидетелем невзгод Христины Ф., фамилию которой мы из сочувствия к ее великим страданиям личного плана называть не будем. Действия было много и после рассказа и даже во время чтения этого рассказа, — Христина не любит сидеть сложа руки, когда жатва еще в самом разгаре. О действии еще будет когда-нибудь рассказано во славу благородной девушки, нашедшей в себе так много сил.

Она отвечала на все вопросы коротко и правдиво. Ее правдивость и фатальная откровенность сбивали прокурора с толку и вселяли в него глубокую антипатию к ней.

С каждой минутой она все больше чувствовала, что каждый вопрос, каждый ответ был чем-то вроде заступа земли в ее могилу на самую грудь ее.

Она отвечала как окаменевшая, без страсти и позы. Она чувствовала, что лежит уже на дне. И только под конец, ощутив, что следователи уже не сдерживаются и задают ей вопросы злобно и с пристрастием, когда она, словно озаренная предсмертной молнией, увидела их равнодушные лица, и холод, и полное незнание и нежелание знать, как живет народ и что он перенес, она вдруг сказала:

— Слушайте, я знаю, что мне не выйти отсюда живой, вот здесь, — она положила руку на сердце, — здесь что-то говорит мне, что пришла моя смерть, что я совершила запретное, дурное и незаконное. Так вот я тоже хочу хоть кое-что спросить у вас, умоляю вас — ответьте...

И она стала их допрашивать, зачем они бросили ее немцам, зачем обманывали ее до последнего дня и успокаивали, что враг не подойдет, и бросили через полсуток, как лгуны и холодные души. Что они трусы и лгуны — об этом все говорили. Что она не знает родины, потому что ей запрещали ее.

— Не судить вам меня надо, а просить прощения, что должна была я спать с немцами, что не вылезала я из-под них полтора года. Семья у нас честная, неразвращенная.

— Замолчи, шлюха.

— Не шлюха я, а мученица. Я не преступница, я жертва слабая и несчастная. Я жертва нашей слабости. Убивайте меня. Я кормила вас и одевала. Я провожала вас горячими слезами. Ими же и встретить вас довелось. Вы виноваты, а не я. Я готова умереть, что смерть? Теперь я уже вижу, это так немного. Ведь то, что я получила на всю жизнь, хуже смерти.

1952 год

16, II

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

1. Приезд в Москву Ивана Тимофеевича Хапуги-Соловей-
■ чика.

2. Получение сукна в Кунцеве.
3. Мечты на дорогах.
4. Есть такая машина. Слабые тормоза.
5. Предательские тормоза.
- 7 *. На кольцо Б.
8. Что делать?
9. Хапуга-Соловейчик в отчаянии.

* В автографе после 5 идет 7.

10. Трое в одной кабине.

11. Споры. Поиски адресата.

12. Обойдя весь двор, всех расспросив о Хапуге-Соловейчике... Нет Хапуги! Никто не знает. Провалился Хапуга. Что делать?

13. Предательство и отступничество. Взвесив все «за» и «против», решил не возвращаться в машину. К тому же у него много дел. Правда, он первый заел неопределенный разговор в кабине.

14. Что делать двоим? Воровства, конечно, никакого нет. Но, с другой стороны, могут же подумать? И куда девался тот?

15. Ездили до вечера. Потратили бензин. Купили новый. Куда? Выход. На фабрику в Кунцево.

16. На фабрике у ворот. Гений непропускательства. Вставная новелла.

17. Снова мечты на дорогах. Ночь. Черт украл месяц. Метелица.

18. Приезжают на базу. Не принимают без начальника базы, т. Кума.

19. Кум гуляет у Солохи. Побежали за Кумом. По дороге разминулись.

20. Кум находит в машине сукно.

21. Осуществляются мечты Кума. Он может творить добрые дела. Только добрыми делами можно прославиться. Но какие же добрые дела могут быть у начальника автобазы строительства?

22. За рулон сукна и в детский дом. Воспитанники-сироты и их воспитательницы.

23. Суд.

— Черт его знает. Такая нелепица приснилась, что и до сей поры в себя не приду. Сон это или, может, вправду... Слушай! Где же это я вчера?.. Хм! Вот история... Вера! Тишина. На крик никто не отозвался.¹

Все устремлено в завтра.

Эта устремленность в недалекое будущее составляет душу нашего времени.

Это молодость, реальность, оптимизм. Это не мечты о далеком счастье.

Мы уже приблизились к счастью вплотную.

Сделано так много, что кажется, от смерти Ленина до наших дней прошли столетия, так много вместились великих событий за двадцать восемь лет.

Продление жизни.

■

Слышу в вагоне песни азерб[айджанцев]. Соло под аккомпанемент музыки и хора. Это прекрасно. Записать подробно, что это: это жизнь человека. Умер Н., и сразу вся жизнь на 50 метрах под эту музыку.

■

Нужно искать во всем поэтическое выражение. А сколько его вокруг. Только плохо мы видим и мало прислушиваемся к голосу своего сердца.²

Обо всем можно слагать стихи.

О самых мельчайших мелочах, обо всем обыкновенном и словно бы будничном.

Чтобы сделать его несбыкновенным и небудничным.¹

■

Диктор. Тема. Склонили головы перед миллионами убитых. Траурный торжественный марш.² Тишина. Салюты орудий. Небо темно-вороненое — до того колоссальна туча.

1. Плотники остановились на минуту.

2. Другой вариант. Им некогда останавливаться. Они говорят, делая свое. Мимо них женщины провозят возы или плуги.

3. Это лишь воспоминание о Грише Нагнибеда. О смерти его и о печени. О том, что он видел перед смертью и что сказал (Роману).

4. Здесь могут быть музыкальные паузы. Как будто радио — то громко, то тихо. Игра на тишине и на полном звучании.¹

12. IV

Сценарий «Открытие Антарктиды» я писал не для Н. и не для Н. Н.

Я писал его для молодых начинающих сценаристов. Для них я трудился около восьми месяцев, не жалея сил. Мне хотелось создать образцовый сценарий, в котором идея, человеческие образы и вся обстановка пребывали бы в единстве формы и содержания. Чтобы все решительно в нем, будучи легкочитаемым, драматичным, устремленным, было полно движения, то есть было всегда кинематографичным.

1. V

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДУРАКА

Драма

1. После назначения на пост приходит в кабинет. Представляется ему первый заместитель: «Что это такое?» — «Графин». — «Какой?» — и т. д. (всю сцену с Д—м).

2. Секретарше: «Если будут ко мне проситься на прием или звонить лица, именующие себя моими товарищами или родственниками, не пускайте. У меня нет родственников и товарищей».

3. Ездит из министерства на квартиру в час ночи или днем обязательно в машине. Расстояние два квартала.

— Почему вы ездите в машине? Почему бы вам не пройтись по прекрасной улице? Тем более, это так близко.

— Не хочу. Вот так, знаете ли, пойдешь, а на улице будут к тебе пристаывать с разными просьбами...

Во всей картине должна пламенеть печать величия истории. Но не в обезличенном массиве тысячных мятущихся толп, а в индивидуализированных образах, в поступках, в мыслях, в высоте намерений. Чем измеряется человек? Высотой намерений и целей, а не высотой небоскребая.

■

Все должно быть в непрерывном движении с переменным ритмом — от бурного до торжественно-медленного.

■

Все времена дня и года. Восходы и заходы.

13. VII

Один из основных персонажей. Мовчан Илья многодетен. Он весел. Он воплощение радости труда. В этом его талант. Такова его жена и дети. Он любит детей.

Может быть исключительной по очарованию сцена, когда, посадив себе на живот полуголого малыша, он после трудов играет с ним и о чем только не беседует. Вспомнить известный рисунок в *а*, где он держит его лежа, на вытянутых руках.

Старшие три умники. Вообще дети его красивы, здоровы, привлекательны. Привлекательна жена. Вспомнить В. Мовчан в тайге. Умница. Знаки оспы сделали ее лицо сверкающим.

Подробно описать его в работе.

Что он умеет делать.

Как послушны ему инструменты.

■

Но это был уже хор.

Вспомнить, как, делая улей для пчел, он пел в садике под грушей возле хаты. Описать эту грушу рода. И дворик-сад. И как дети его подпевали ему. Некоторые были столь малы

еще, что петь не умели. У них еще не хватало слуха и протяженности звука. Как у маленьких птиц не хватает силы в крыльях и в пении. Песни были разные, и все это радость жизни.

■

Молодому космополиту не понравилось в Каховке.

— Не нравится мне Каховка.

— Да. Не нравится! Ай-ай-ай! А скажите мне, вы ей понравились?

— Кому?

— Каховке. Чем вы порадовали ее, чем вдохновили? Какими идеями, какими планами вы взволновали сердца каховчан, строителей коммунизма? А что вы знаете о ней? Какие предложения внесли на предмет исправления несовершенства видимого порядка вещей?

— Да я просто...

— Вы нахлебник и ничтожество. Каховка даже не заметила вашего пребывания в ней. Вы как муха в столовой. Ему не нравится Каховка! Скучно, не эффектно, не, не... Вы слепое ничтожество, слепое, не способное видеть, без любви к людям, без радости творчества, без способности восторгаться. Вы молоды, а душа у вас стара. Старая отрицающая душонка с таким, видите ли, саркастическим остроумием. Я видеть вас не хочу. Идите.²

■

Тогда Гриша Нагнибеда посмотрел на нас своими большими чистыми глазами, и мы заметили, что он отходит.

— Что, Гриша? — сказали мы ему нежно, насколько позволяло нам внешнее безобразие и вонь из наших ртов.

— Умираю, — прошептал Нагнибеда и не то улыбнулся, не то хотел заплакать. Потом повернул лицо ко мне, как к са-

мому старшему. Тогда я наклонился к нему и, глядя в бездонную прозрачность его глаз, готовых вот-вот закрыться навеки, заметил, что он видит уже не нас, а что-то другое, глядя куда-то позерх наших голов.

— Говори, Григорий.

— Что ты видишь?

Запишу.

— Я вижу все...

— А нет ли там Украины? Не видишь ли ее?

— Вижу, брат.

Что он рассказывал об Украине, я не слышал...

Я потерял сознание от голода, и перо выпало из моих рук. Когда я пришел в себя и открыл глаза...

■

Я составлял законы. Я предлагал их вождям моего народа на утверждение. И они их не принимали. Ибо не они их ставили.

Я предлагаю план сада. Меня провалили. Выступаю на пленуме комсомола. Меня слушают. Потом закон принимают, только чтобы я о себе не возомнил.

— Я мечтатель. Я реконструирую город первым. Я про-водник (2 мая). Обком — интурист. Беседы. Мосты. Озеро. Сады. Город. Площади. Принципы застройки. Законы для деревни. Для школы. Для родителей. Основная моя страсть — этика. Перестраиваю в воображении мир. Не сплю ночи. Картины шумят в голове, проносятся одна краше и величественнее другой. Мог все. Был способен и вполне готов на все хорошее и умное, а видел вокруг душевную и умственную мелочность и ни на грош вкуса.

Творец должен любить жизнь и показывать, что она прекрасна. Без него люди усомнились бы. Следовательно, творец должен писать правду.¹

Прсф[ессор]. Нет, это, знаете ли, совершенно не-е... не-е...

— Не годится?

— Да. Молодец. Как же это вы догадались?

■

Обязательно в картине должны быть археологи и раскопки. Вспомнить и расписать подробно эту уникальную Камьяну Могилу, и ночь разговоров, и как доисторический учен[ый] ловил мне ночью раков тоже доисторическим способом.

Подробно описать. Сравнить, как мой дед-кудесник ловил рыбу.

Археологи нужны как носители призмы времени.

■

Выступала молодая армянская поэтесса. Прекрасное, изумительное выступление. Я буквально очарован этой речью. «Это новое начало». Узнать ее имя и адрес и обязательно написать письмо.

■

— Да ничего, ну что вы, ей-богу, по-моему, все в абсолютном порядке. Жаль только, что время зря пропадает,

— Не время пропадает, а мы.²

■

— Очень интересно. Хотя у меня есть несколько аргументов, которыми я хотел бы обосновать противоположную точку зрения. Вы позволите?

— Пожалуйста.

— Начну с того, что вы вообще говорили недопустимые



Много говорите о счастье. Счастье, счастье... Есть вещи более значительные, чем счастье, более глубокие и, если хотите знать, более достоверные.²



У него так долго не было успеха, что он постарел, увял и стал некрасивым.

Для красоты нужно счастье.

Нужна гармония:

- в физических наслаждениях,
- в исполнении желаний,
- в благоприятной работе.¹



Глупо и пошло было бы ненавидеть и «развенчивать» Гоголя за «Переписку с друзьями», вызвавшую письмо Белинского.

О людях

следует судить по тому, в чем они успели, а не по тому, в чем они потерпели неудачу.

Боец и с недостатками все же боец, а муха без недостатков — всего лишь безупречная муха.

Преобразование природы в Китае. Собрать номера журнала и книги.

Природа Индии в оковах.

Африка.

«Убывающее плодородие» в Америке.

Растленная земля. Америка.

«Человечество погибнет от пустыни, рано или поздно ей суждено покрыть мертвым саваном весь земной шар. Земля станет царством засухи. Таково ее роковое предопределение. И главный фактор в образовании пустыни — человек». (Буржуазная наука.)²

28. VII (52)

1. Диалог о благодарных потомках.

Пропев «Соловьи, соловьи».

2. Темнеет. Плотники уснули на топчанах или прямо на земле под открытым небом. Начинает меняться небо.
Снится сон.

Во время сна проезжают машины или кто-то подходит и останавливается, спрашивая громко: куда поворачивать? Подходит не один, а двое или трое, чтобы дать возможность вести параллельные диалоги путникам между собой и «сну» между собой.

3. Один из плотников — законодатель и пророк. Колыдуб.

4. Другой — Кола. Товченик. Нечитайло.

5. Один — совсем подросток. Чувствует в себе все таланты, какие только есть на свете.

6. Третий — практичный человек. Не любит никаких проявлений чувств. Любит, чтобы все было как следует.

■

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят.

*Седой **

Эту песню поют мои плотники под конец одного действия вечером, весной под пенье соловья...

Потом сны.

Непременно использовать в наплывах.

Просмотреть для этого «Прощай, Америка!» и, быть может, оттуда взять эпизод.¹

■

Приезд на Каховку делегатов Америки, Индии, Китая.

1. Действующие лица могут общаться при помощи радио-аппаратов. Таким образом, можно обнять несколько точек: Каховка — Терпение или Запорожье — Керчь.

2. Поездка на автомашине по автомагистрали Москва — Симф[ерополь].

3. Или на самолете.

4. Над пустынями нашего юго-востока, и может быть, и других стран.

■

Когда президент Академии наук А. Н. Несмеянов делал свой доклад импровизированный о «точках роста», лежащих всегда «где-то между», на опушках наук, я подумал: и в поэзии мы знаем ярчайший пример — Маяковский. Сумел же он язык поэзии, газеты, лозунга и прозы самой серой объединить в новый сплав могучей, новой, невиданной силы.

Это понял Б. Агапов.

■

Вообще выступление Несмеянова было исключительно тонким и интересным, обличающим в нем очень одаренного человека.

■

О стыке далеких атомов.

■

Долго смотрел Кравчина на работу шагающего экскаватора. Возле него — восхищенные шепоты журналистов. Наконец, 250

когда его спросили: ну как? ! — ответил неожиданно, чем и обескуражил кое-кого: ²

— Рука длинна. Что-то не то. Неестественная фигура. Не смейтесь. Вот припомните мое слово: не пройдет. Будет работать другая машина. А это все равно, что жирафу притачать шею еще втрое. Развалятся.

— Что?

— Развалятся эта машина на две, на три, а может, и на пять машин, и все пять, вместе взятые, сделают всю работу, а электроэнергии пожрут вдвое меньше. Вот так и знайте. Руки длинные.

— Шея?

— Ну пусть будет шея.

16. VIII

Может быть, ввести в фильм автора.

Дикторский текст. То-то и то-то... Вот здесь батрачил когда-то мой 19-летний отец.

Все в показе.

Экскаватор «хватает» целый скифский курган и подымает вверх. Наплывом.

Три тысячи лет назад скифы.

Половцы, хазары, запорожцы.

Серко... долина...

Фальцфейн,

Революция,

Война.

1. У Сталина.
2. Андрианов дома.
3. В степи на машинах.
4. На Днепре, на пароходе.
5. В самолете над Украиной.
6. Каховка.

7. Кто пришел (прием на работу)¹ и где-то в середине этой семерки дом моего героя, и уход его с семьей, и прощание с матерью Феликсы — и она в степи (ее забрали проезжающие геологи на грузовике). Грузовик в степи среди безбрежных хлопковых полей, и она на нем стоит, вся устремлен[ная] в будущее.



Люди радуются. Произошло событие огромное в их жизни, в жизни народа, в жизни и судьбах их детей и всех их поколений. Это великое торжество. Это высочайшее самосозерцание, и это на границе действия. Действие неотделимо. Оно начинается сразу.

Решили проект. После долгих изысканий, споров, проверок и т. п. пришли к варианту. Приняли. Большой, незабываемый день! В такой день нельзя быть в одиночестве. Даже мало говорили, но думали вместе (исключительно интересно и выразительно).

В драме один из геологов говорит: «Господи, как отличается нынешняя драма от пр.».

Ш—ЕВ

Человек быстрый, податливый и какой-то весь словно неуловимый, ускользающий. Он не ходил, а забегал, заскакивал, надскакивал, соскакивал. Его нельзя было куда-либо подвезти, а лишь подбросить, выбросить.

Голос у него громкий и вначале всегда уверенный и респектабельный, как говорится, голос человека со знанием дела. Но знание дела вдруг оказывалось сомнительным, и тогда голос у него сразу ослабевал и начинал неуверенно дребезжать. Так было и на сей раз.

Долго сидели рабочие, присмирив в глубоком смущении, когда он раскрыл их безобразное отношение к труду «с пол-

ной... прямой и откровенностью». И как ни пресли в президиуме, как ни вызывали рабочих на дискуссию, никто не отзывался. «Что тут уж говорить, все ясно». Ш—ев сидел после своего блистательного доклада приятно возбужденный, поправляя пятерней, словно гребнем, слегка взметнувшиеся во время выступления волосы.

Но вот кое-как уговорили наконец выступить бригадира разнорабочих Романа Ляща. Лящ был человек на вид неказистый, но вдумчивый и неплохой бригадир.

Свои разнорабочие дела, или то, что называлось раньше черной работой, он выполнял весьма старательно. Ораторских данных за ним не замечалось, но тут вдруг он нашел поистине классический ораторский прием, который развеселил всех, кроме, пожалуй, президиума.

— Да, товарищи, — сказал Лящ и, повернув голову, крепко потер затылок, — выступавший здесь наш прораб Ш—ев правильно вскрыл и вывел на чистую воду, ну, то есть, буквально все недостатки в нашей, так сказать, между прочим, работе и так и далее. Картина или еще более, так сказать, художество, которое мы вообразим из себя, да еще, так сказать, ну буквально на самом красивом берегу Днепра, никуда, то есть, не годится решительно. И нет здесь среди нас ни одного честного рабочего, которыми мы здесь являемся, чтобы полностью не согласиться с теми безобразиями, которые, обратно же, мы здесь ежедневно творим. Поэтому мы можем сегодня вполне, так сказать, сознательно заявить нашему прорабу и ответственно: да, вы, товарищ Ш—ев, действительно по-варварски относитесь к материалам великой стройки коммунизма, о которой вы так ясно и правильно, так сказать, говорили. Вы по-варварски относитесь к нашему рабочему времени, к нашему труду. Сколько мы здесь простаиваем из-за вас, из-за вашего неумения организовать наш рабочий, так сказать, процесс и так и далее. Сколько мы тут

ежедневно ругаем вас за это тайком, можете, так сказать, женщин спросить и проверить.

Ш—в был тихо ошеломлен. Что угодно ожидал он от Ляща, только не такого поворота дела.²

■

«— Ты скажи мне, реки-то вспять потекут?

— И реки потекут, куда прикажем». (Солдатский разговор.)

— А смысл какой? Почему надо делать все обязательно наперекор? И есть ли в этом мудрость?¹

■

— То, что мы делаем, так же бессмертно, как Сталинградская битва, так же неизмеримо, как наша победа.

Это давняя мечта человечества. Угаснут грозные бури, засуха, облагородится климат. И мы войдем в БЕССМЕРТИЕ, красивые, как и дело наших рук.

Тридцать миллиардов деревьев, что посадим мы... — вот исторический ответ, который дает сегодня коммунизм анархическому капитализму, растлителю земли.

— Спасибо за великий пример. Нет ни красок, ни слов... Может быть, только музыка в состоянии воплотить сегодня это необъятное движение новых человеческих сил на земле.

Это поистине географический труд. И если есть разумные существа на других планетах, то и оттуда увидят они в свои телескопы наш... знак на Земле.

— Восемьдесят тысяч колхозов СССР! А Румыния, Болгария, Китай! Трудно представить себе, что будет в мире через пятнадцать лет.²

Проблема времени

Разобрать разнообразнейшие способы решения времени на экране. Надо так расположиться в картине, чтобы чувствовать себя совершенно свободно во временах минувших за две тысячи [лет], в современности.

То же и в пространстве.

8. IX

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

*(Заметки и материалы
к роману — народной эпопее
на Днепре)*

Посетил в Старой Каховке сельскохозяйственную выставку. Хозяева павильонов совершенно равнодушны к посетителям, даже отворачивались. Чисто национальный признак нелюбви ко всему показному, выставочному. Прекрасные жеребцы ржали неистовыми голосами. Фантастические овощи и хлеб...



Подумать надо сейчас же — пока не до конца испортили — и о Новой Каховке. В ней прошлое не материализовано ни в памятниках старины, ни в исторических зданиях. А у нее, у Старой Каховки, есть прошлое историческое, политическое.

Так что хотя бы некоторые здания надо строить, представляя себя в будущем.

Хотя бы три следует возвести высокие, из прекрасного материала, чтобы перебить новоявленный провинциальный масштаб, стиль...



Попрошу сегодня Андрианова не крыть тяжелой кровлей Дом культуры, а оставить плоскую.

Тем самым мы получаем третий этаж — площадку, единственное место, откуда молодежь увидит все свои сооружения.



Должен непременно побывать в любимовском карьере каменоломни. Там я непременно найду что-нибудь для «призмы времени». Познакомлюсь с каменщиками, а может быть, и с археологами или археологическими раскопками.¹



Андрианов вполне согласился с моим предложением. «Вы беспокойный дух, Александр. Я вполне согласен с вами, но как жаль, что так поздно приехали. У нас уже даны заказы на крышу».²

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДА

Большая, нетронутая и невероятно интересная тема, которая должна пройти через всю книгу. Тут и А., и Ш., и М., и сонная академия, и бесконечная неразбериха, неумение, и беседы об архитектуре вообще, о национальном архитектурном наследии и наследии вообще.

Слепота архитекторов в своей области, неумение мыслить пространственно, исторично и т. д. Обывательщина, эклектизм, чванство, чиновность, отсутствие вкуса.¹ «Эх, брат, вкуса у меня нет. Мне бы дать вкус, ох, и загвоздил бы я тогда дома...»²

Новая Каховка, как она есть, — принципы ее застройки, вернее — отсутствие арх[итектурного] принципа,

ОФОРМЛЕНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Вспомнить пьесу: диспут в музее по поводу проекта оформления моста Наводницкого.

Галерея «архитекторов», консультантов, ученых секретарей. Как испугались запорожцев.

Мол, докладчик под маркой палеолита, скифсв и прочего хочет протащить национализм...

«Как бы чего, знаете... Так-то оно вроде, с одной стороны, и того, но... Нет, я должен воздерживаться от дел, где потом, если хотите знать... Не-ет... до свидания...»

Ответ автора...

13. IX

Написать всю линию «аморального» поведения парней с девушками. На десять рождений в родильном доме восемь безмужних. Изучить наиболее интересные дела, истории, драмы.

Им противопоставить хорошую семью, с любовью, счастьем, детьми.

Вообще у нас девушек намного больше, чем парней. И девочкам горе. Это беда большая, общая.

Девушкам посвятить особую главу и вообще уделить много внимания. О них так много можно сказать.

Вспомнить девушку, которая не выходит замуж, потому что сватаются некрасивые.

Здесь бросается в глаза множество красивых девушек и ребят.

■

257 Самая могучая машина эпохи — земснаряд — совершенно неоригинальна и неэффектна с виду. С помощью этой ма-

шины мы пресбразуем землю. То, о чем мечталось только в сказках или в снах, может стать реальностью наших дней. Вот что такое земснаряд. И ничего показного. Это не машина, а целый образ.

*Воскресенье, утро 12. X
над рекой Пидпильной*

НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ *

Какие картины здесь можно писать! Какие воспоминания! Как можно очищать и возвеличивать душу в созерцании огромных торжественных пространств! Как не родиться было здесь гигантом духа, поэтом войны, защитником отчизны! Когда мир твой так красив и такой высокий извечный дух могущества играет в просторах на невидимых своих струнах.

Кланяюсь тебе, родная моя земля!

Преклоняю колена пред тобою, полный несказанной благодарности, за то, что родила меня в великие времена, что поишь и кормишь меня всеми сокровищами хлеба, меда, молока твоего, твоих песен и музыки, что приносишь мне радости и страдания и примашь меня, мать моя, на свое ложе, как прияла дедов моих и прадедов.

Почему так любили тебя, и так воспевали, и так тянулись к тебе сердцем и помыслами и всеми высочайшими чувствами, всем, что было самого высокого и самого чистого в мужественном человеке?

Благословляю день, и осень, и теплый вечер, и шум осо-
корей, доносящийся ко мне с того берега.

* Подпись к рисунку.

ОБЪЕКТ АРХИТЕКТУРЕ

Старое — то, что когда-то было новым. А старинное — то, что, в свое время новое, обозначало одну из главных сторон синтеза своей эпохи, а ныне знаменует характер ушедшей древности, ее высшее проявление.

Вот почему старинное интересно и дорого нам как приемникам культуры прошлых эпох. И мы пользуемся им подчас в своем современном искусстве.

В старинном нет архаичности*.

Архаика есть в старом.

И есть большая разница между старинным и архаичным.

Кстати, в использовании архаичного есть всегда тяжело-ватость и нечто от монастырской печали. Мне возразят: это же национальное. Согласен. Но это и есть та частица национального, которую вернее всего можно назвать архиерейской. И если еще можно использовать в архитектуре больших городов с тысячелетней историей эти элементы наследия, то уж вовсе неприлично и вызывает чувство протеста дилетантское протаскивание его в архитектуру новых городов, на великие стройки коммунизма.

Если недостает собственного таланта, надо хотя знать меру в эклектике.

Выстроить над классическим орденом трехэтажного здания Дворца культуры в Новой Каховке двухъярусную кровлю барокко из Киевского Софийского архива — для этого надо обладать большим запасом космополитической наглости и распушенности.

259 * Оно существует как бы над границами времени и само обозначает время, материализованное в камне, металле, дереве, руками людей. — *Прим. автора.*

Если мне посчастливится написать сценарий в добром здоровье и я не потеряю трудоспособность, я поставлю фильм на Киевской студии.

Я возвращаюсь на Украину. Я должен, собрав все силы, не обращать внимания на тех, кто меня ненавидит, творить для народа, молиться народу, идя с ним к великой цели строительства коммунизма, и жить одним — картиной о великом строительстве на Днестре и в степях Украины.

Г—ВЫ И ПР[ОЧИЕ] А—ЧИ

Есть и такие. Приезжают, суетятся. Надувают губы. Им не нравится. «Скучно. Серо. Неэффектно». «И чем больше приглядываешься, тем серее...» И т. д. Все эти подслеповатые выродки, лжеписатели, псевдокорреспонденты, всякая сволочь, псевдобригадиры, которых не следовало бы подпускать сюда на пистолетный выстрел.

Смотреть стыдно. Не могли лучше прислать.

ЧТО СО МНОЮ?

Иду из аптеки. По дороге возле управления Днепростроя стоят две молодые женщины. Простые труженицы. У одной грудной ребенок, запеленатый в белую простынку. Она качает его на руках и сама ритмично покачивается, счастливо улыбаясь малышу. И меня, прошедшего в пятнадцати шагах и видевшего их всего пять секунд, охватывает радость.

Потом на дороге остановился самосвал. Другая молодая работница с приветливым чистым лицом кивнула водителю. Он остановил машину. Она садится в кабину, улыбаясь водителю — очевидно, своему знакомому, — а у меня на глазах слезы радости. Чему я рад?

Жизни. Простым, вроде бы самым обыкновенным проявлениям прекрасного, человеческого, нежного...

ХАМ

Зашел к Н. в кабинет. Сидит передо мною свинья... После нескольких минут молчания спрашивает меня, к ней ли я пришел. Когда я сказал «да» и назвал ее, она, не глядя на меня, спросила, что мне надо. Потом таким же трактирно-хамским тоном она спросила меня, для какой цели, а потом еще помолчала минуты три, занимаясь подписыванием бумаг. Соизволила сказать мне, все так же не глядя, что она не может мне выделить никого в провожатые для осмотра участка бетонных заводов и что может дать мне записку к прорабу Н., которого я должен там найти. Я ушел. Свинтус так и не глянул на меня.

Противно было так, что просто голова разболелась. Потом я подумал: да это же прекрасно. Слава богу, нашел-таки свинтуса, который со своей хамоватостью тоже строит коммунизм... Быть может, где-нибудь в третьем поколении сойдет с его потомков тавро хама...

В углу возле него стояло комсомольское переходящее знамя — ну разве не парадокс?

4. XI

ЮЛИАНА

Я так люблю мою Юлю, как, кажется, никогда еще не любил ее за двадцать пять лет семейной жизни. Я непрерывно говорю ей нежные слова. Любуюсь ею, я весь переполнен глубочайшей нежностью к ней.

...Да, я люблю ее, мою Юлю, и тем счастлив. Кто послал мне любовь?

Пречистые воды великой Реки моего народа. Это ее целебная влага омыла меня, ее вечно девичья украинская ласка и безупречная чистота ее многощедрых красок.

Мягкие теплые воды ее обновили мою душу, очистили от тоски и скорбей, обратили к красоте. И стал я тем, для чего

родила меня Мать моя, добрым и радостным. Она наполнила сердце мое любовью, миром, счастьем. И я теперь всю жизнь буду благословлять ее берега, и ласковый плеск ее волн, и синее небо в ее нежных водах, и матерински-девичью святую теплоту каждого прикосновения ко мне родной влаги.

Река, река, душа моего народа, какой бесценный дар ты мне принесла. С каждым воспоминанием я купаюсь в тебе, с каждой светлой мыслью лечу к тебе «на тихие воды, на ясные зори», несу тебе в жертву драгоценнейшие помыслы, припадаю к тебе.

Святая моя, незабываемая, вечная. Покличь меня, прими на свои берега, где трудятся мои люди, где слышится пение...



— Скажу вам, товарищ, так и знайте — здесь на стройке я маленький человек. И вообще я человек небольшой, незначительный. Я из тех, из которых, только если собрать их всех вместе и направить на хорошее дело, может выделиться что-нибудь героическое или там выдающееся, стоящее внимания. А сам я в отдельности такой, как я уже вам говорил. Выполняю норму, плачу все взносы, — неприлично же рабочему человеку в собственном государстве не платить их. Работу я люблю.



Серафим Н. был одет хорошо, носил умело завязанный галстук. Гладко причесывался. Издали он чем-то напоминал мне Андрия Малышка. В фильме интересно дать его таким на торжественном заседании и после этого сразу перейти на рабочий процесс, где у него как у каменщика совсем другой вид, а его молодая жена, красивая и стройная штукатурица, в прозодежде, да еще и с забрызганным мелом или известкой лицом.



Милого ее убили на японской войне в то время, когда еще только взошла ее звезда. Не наложила она на себя рук. Не прокляла вселенную и бога. Не утопилась. На все эти драматические вещи, поступки у нее не достало героизма. Она не была глубокой, как бездна, или острой, как молния. Она была нежная, как вода. Тихо плакала она в одиночку о своем Василе. А когда ее пожалели, приголубили — невольно отдалась своему призванию...



— Чам же хатў покром?

— Соломой. Чам.

— А говорят, теперь соломой нельзя.

— Почему?

— Плохая солома. Перестали молотить в околот.

— Нет, не потому. Соломенная кровля, писатели говорят, признак мещанства, национализма.

— Глупости. Солома в голове — вот это мещанство или дворянство, а кровля может быть любая. Лишь бы не протекало.

— Вот-вот. У него, должно быть, денег много.

— Кровля не для мещан, а для людей, ежели вы не без сердца.

— Мещанская она для мещан, а для нас человеческая. Солома у них в голове. Соломенное сердце и блудливая, холодная душа.¹



Думай неуклонно только о великом. Подними природу до самого себя; пусть вселенная будет отражением твоей души.

Борись во имя чести. Если придется быть раненным в бою, проливай свою кровь, как благотворную росу, и улыбайся.

1953 год

4. III. 1953

Пишу, пишу, недосыпаю ночи. Прошрое и настоящее проходит перед глазами.

Гремят бои и яростные, страстные состязания в моем возбужденном воображении. Кровь, и боль, и слезы, и смех, а подчас и сарказм выплывают из бездны воспоминаний и несутся в потоке великих событий, как пена на вешней быстрине...

Не думайте, уважаемые товарищи, глядя на великую и страшную мою картину, — если у вас недоброе на уме, — не думайте поживиться замыслом моего [произведения]. Все знаю. И сам себя спрашиваю — почто описываю страдания и недостатки, почто порой смеюсь над собой, читайте — над миром, и плачу, и бранюсь, для чего и во имя чего? Во имя любви. Во имя правды и славы народа моего... О, как же мало можно высказать!¹

Злодейство Берия — несомненно потрясающая и зловещая гримаса нашего времени.

Припоминаю дьявольскую рожу, которую он скорчил, когда меня привезли к Сталину на строгий, страшный суд по случаю неудачных, ошибочных фраз, вкравшихся, по словам самого Сталина, в мой сценарий «Украина в огне».

Вытаращив на меня глаза, как плохой фальшивый актер, он (Берия) грубо гаркнул мне на заседании Политбюро (в начале сорок третьего года) ¹:

— Будем вправлять мозги! ²

— О, я знаю тебя, — грозясь пальцем и так же злобно вытаращив глаза, поучал меня друг Берия Н. — Ты вождю пожалел десять метров пленочки. Ты ни одного эпизода в картинах ему не сделал. Пожалел! Не хотел изобразить вождя! Гордость тебя заела, вот и погибай теперь... Ты-ы... Как надо работать в кино? И что твой талант? Тыфу, вот что твой талант... Ничего не значит, если ты не умеешь работать... Ты работай, как я: думай что хочешь, а когда делаешь фильм, разбрасывай по нем то, что любят: тут серпочек, тут молоточек, тут серпочек, тут молоточек, там звездочка... ²

«Первый маэстро» начал даже показывать мне, как именно надо разбрасывать серпочки и молоточки, отчего я чуть не провалился сквозь землю, охваченный возмущением, отчаянием и отвращением.

Разбросав воображаемые серпочки, маэстро гордо стал передо мной и поднял голову и указательный перст: ¹

— Вот и был бы ты человеком. А теперь мой совет тебе — исчезай, как будто тебя и не было... ²

Но самое отвратительное случилось со мной накануне ареста Берия.

Как потом оказалось, он уже был арестован, но никто из нас, простых смертных, об этом не знал. Знал, очевидно,

В министерстве на Гнездниковском, в просмотровом темном зале, просматриваю вместе с Иваном Козловским фильм «Джунгли». Отворяются двери: Н. Какая-то женщина, которая всегда за ним волочитя, села в кресло, сам же «друг» направляется сразу ко мне. Зная явно, что я здесь сижу.

Отводит меня в уголок.¹

— Слушай, Сашко, я хочу сообщить тебе, — шепотом, — сообщить тебе очень приятную весть для тебя... Если тебе надо, — слушай меня внимательно... если тебе надо устроиться творчески и вообще устроиться достойно своему назначению здесь, в Москве, или на Украине, в Киеве, напиши коротенькое письмо Лаврентию Павловичу. И не откладывай... Напиши: дорогой Л. П., я и т. д. очень прошу вас помочь мне творить... и т. д. Понял? Он все тебе сделает. Понял? Можешь мне верить. Это я тебе, запомни, говорю. Да будет тебе известно, он лучше к тебе относится, чем относился... Я уезжаю. Здесь я ничего не могу заслужить... и т. д.

Я промолчал. Я был подавлен этой речью. Маэстро исчез сразу же. Я до сих пор не могу понять, что это? Провокация, покупка?²

4. УИИ

«ПЕРСОНАЖИ «ХАТЫ»

Один из персонажей хочет, чтобы в будущем было много зверя в степи и птицы. Все хлеб да хлеб. Я хочу, чтоб все было.

Он мечтает о будущем. Чтоб было интересно. И чтобы были хищные звери.

Ничего. Мы воспитаем в них новый инстинкт — дружбы к человеку. Довольно хищничества.



Непременный персонаж фильма — археолог. Может быть комедийным.

Введение археолога и археологических изысканий в район строительства даст возможность в р е м е н н ы х решений в фильме.

■

Лучше, если археологов будет два: один старый, вроде покойного профессора И., другой молодой, слегка иронически смотрящий на И. Это молодой ученый, весь устремленный вперед, а не назад.

— Дивись * назад — это смысл нашей нации.

— Смотри вперед или останешься позади — и через прошлое утверждай будущее в настоящем.²

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

Т — ко недотепа. Он никогда не мог защитить как следует свою мысль, терялся, говорил глупости — одним словом, производил невыгодное впечатление. «Находился» он только через три-четыре часа.

Это бывало обычно дома. Тогда диспут продолжался, повторялся снова. Врагом была его жена или... Он впадал ей в уста убедительные острые аргументы против себя, значительно более острые, чем те, из-за которых он потерпел фиаско, но зато и отвечал же он ей! Через час от нее не оставалось ни одной целой косточки. И только тогда он успокаивался, к нему возвращались творческие силы. Жена знала это и терпела.

■

Когда-то прославиться можно было нечеловеческим страданием, адскими муками или диким преступлением.

* Дивись — смотри (укр.).

Кто был славен трудом? Назовите мне одну душу за тысячу лет, которая прославилась бы трудом праведным? Нет такой крестьянской души.

Труд был напрасным. Животным, растительным.

■

Найдите хоть один памятник счастливому человеку. Вот памятник человеку, который умел красиво и счастливо прожить жизнь. Смотрите на него, потомки, нет такого.

18.VIII
В вагоне

Народ народу подарил реку.

Тема для блестящего рассказа или сценария.

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

Золотые ворота в коммунизм. Юность мечтает выстроить их посреди степи и чтобы сквозь них текли воды Днепра по степям Украины.¹

■

Так воевать, как мы.

Помните только одно: так сражаться, как мы сражались, и не снилось проклятой вашей торгашеской натуре. И не умирали вы в битвах так, как умирали наши герои, и не побеждать вам никогда так, как побеждали мы.

Такой меры любви и жизни подвигу, такой страсти победы не выдать вам из своих торгашеских душ и не купить ни за какое золото.

Что ваше золото? Как смешны и глупы вы сегодня с вашим золотом.



- У него слабость считать себя за важную персону.¹
- Он поднялся все же до высшей должности.
- Да, но ведь и ящерица не хуже орла достигает самых высоких горных вершин.
- Господа, это невозможно.

КО ВТОРОМУ СПОРУ

Меры для спасения народа и государства не всегда остаются одинаковыми. «Сама добродетель становится пороком, когда употребляется ошибочно».²

23. VIII

Журнал «Нейшнл-парент-тигер» о системе воспитания в США: «Все, в чем нуждается страна, — это люди, которые будут убивать других, для того чтобы выжить самим».

Капиталисты владеют школами и университетами на правах частной собственности, подобно тому как владеют они банками, валютой, прессой.

Подготовка к войне, к уничтожению нас, искусственно созданный психоз опасности и т. п.

Вспомнить всю «Прощай, Америка!» и статью в «Новом времени».

Эпизоды в самолете.



— Хотите писать о будущем? Приезжайте к нам на стройку и расскажите людям о том, что будет через... лет.

Когда кончился этот удивительный рассказ о том, какой будет степь через 15 лет, молодой парень вздохнул и, глядя вдаль, спросил:

— А каков стану я в то время?¹



— Зачем ты написал то-то и то-то? Ведь этого еще нет.

— Это научная фантастика.

Великие стройки — это кульминационные вышки нашего хозяйства.



Надо написать пять рассказов. От мечты Ленина к гигантскому настоящему — будущему.

Народы нашей страны прошли уже гигантский путь...

Новый пейзаж коммунизма — это красота будущего, и в этой красоте — красота наших душ, нас как авторов и творцов будущего, новых людей на земле.²

24, VIII

Часовая беседа с т. К. Я. М. о двух вариантах.

1. Самотечный (принятый правительством).

2. Механический (Геден).

Второй дешевле на 5 миллиардов, без Молочанского водохранилища. У кого-то в сентябре забегают¹ «мальчики кровавые в глазах».²



Образ Кузнеца интересный.



Говорил ему о сибирских реках, о Дазыдове, Викторе и т. д. Всё понимает. Правда, надо тему трактовать во всемирном масштабе.

Страсти великие...¹

Напомнил ему Лысенко — Цицина,

ПРОПАЛ

1. Иван Иванович, занимавший крупный пост, будучи вызван к Петру Петровичу, занимавшему еще более крупный пост, услышал вдруг по своему адресу неожиданное грубое:

— Вон! Пошел вон! Мерзавец, так и так!..

2. Совершенно сбитый с толку, ушел мгновенно, невзвидел света [нрзб.], ни предметов, плыло все в голове... «Пропал».

3. Дома все потрясены. На работу уже не поехал. Не ел, не пил. Всю ночь не спал. Вел внутренний диалог. «За что?» Перечислял все свои заслуги, свою преданность, труды, мечты... За что?! Не могу я больше работать. Руки отваливаются.

Ему казалось, что все уже знают о его позоре, о его падении. А может быть... не дай бог... неужели?

4. На другой день был снова вызван к П. П. Шел — ноги подкашивались. Вошел. Был встречен ласково, с извинением.

— Простите меня. Я получаю вот уже два года жалобы на вас за грубое поведение и решил дать вам возможность проверить это на себе... Жалейте людей. Не обижай[те].

1954 год

3. VIII, 1954

ЧТО ДЕЛАТЬ? ²

Из-за тебя, негодника, нет счастья в колхозе.
— Поживете и без счастья, черт вас не возьмет. Счастье, счастье! Есть вещи поважнее, чем счастье.

*18. VIII
Поезд*

А ГЛАВНЕЙШЕЕ ИЗ ГЛАВНОГО

синтезировать новую, коммунистическую психологию. Ярко изобразить все возможные проявления ее в работе, в направлении, в этике, в эстетике.

В картине должны родиться люди нашей новой беспрецедентной эпохи — коммунизма.

Фильм о Великих маленьких людях, творящих новую эру на земле — эру коммунизма.

12. IX, 1954

Сегодня мне исполнилось шестьдесят лет. Вчера весь вечер был взволнован, весь был переполнен сложными мыслями: пролетела моя бурная жизнь. А сейчас сижу у окна в Каховке. Прекрасное тихое утро. Передо мной совсем близко синее Днестр, за тихой днестровской водой белеет Казацкий остров и село Казацкое на той стороне, а на осеннем небе ни облачка. Мне радостно и приятно, что свой осенний праздник я встречаю в новом социалистическом городе, в Новой Каховке, возле плотины, которая создаст здесь новое море и новую жизнь, а вокруг меня молодые люди. Сегодня воскресенье, всё отдыхает, и даже на реке меньше рабочего пароходного движения. Я люблю Новую Каховку, люблю Днестр — великую реку моего народа, чистый ласковый воздух, ясное небо, и широту во всем, и сдержанность в пейзаже, и величавый покой. И нигде мне так не хотелось бы жить, как здесь, на чудесном родном берегу, нигде и никогда я не проникался так любовью к людям, как здесь. Каховка, где когда-то в прошлом столетии батрачил еще молодым мой отец, стала отечеством моего сердца, отечеством самых дорогих для меня чувств.

Вчера и сегодня я получил много приветственных телеграмм...

Национальную форму и содержание я чувствую всегда, и сегодня особенно. Горько мне? Гробит меня отчаяние, печаль? Нет. Небо ясно, и воздух прозрачен. Я благословляю великую и прекрасную жизнь и благословляю судьбу, одарившую меня такими дарами. Я сегодня люблю всех людей.

Люблю свое правительство, партию свою и несу в себе только ее содержание, цель, обязанность перед миром.

Пылкой любовью люблю свой народ. Много бурь улеглось в моем сердце, только одна из них осталась навсегда: страсть этическая, и за это я благословляю свою судьбу и свое время...

В приветственных телеграммах поминают с благодарностью мою работу, указывают на ее всемирное значение. Как мне жаль. Я почти никогда не думал о всемирности своего творческого значения. И жаль, что я так мало сделал; порой недоставало позитивного стимула, а негативные никогда не вдохновляли меня ни на что.¹

1. X.1954

С. Красотка. Стройна, с красивыми руками, с крупным низким лбом, голубоглазая. Черт знает, какие дьяволы таятся в ней. Она, конечно, завоюет его.

Сидя на одной парте в гидротехническом институте, она не может не завоевать его, потому что та, жена, дома. Она дома, и больше ничего. И все за С. Все говорит о том, что пара его — С. Так он и уедет с ней на новое строит[ельство], в новую жизнь. А жена останется на берегу несчастная. И будет плакать она, и проклинать судьбу, и звать его, но ничего уже не изменится. Судилась ей сиротская доля покинутой.

■

Критики скажут, конечно, — выдумал автор конфликт. Нет такого конфликта. Наши массы давно уже переросли и выросли из этого круга ничтожных частновладельческих проблем. Где он их увидел? Где он увидел этих воображаемых матерей, которые, вместо того чтобы с радостной улыбкой на устах переселяться из тесных мазанок в светлые новые

дома, вдруг начали плакать и целовать наличники, да еще с такими слезливыми причитаниями? Нет этого? Нет!

Тут автор сразу вынужден будет поспешить навстречу критикам с заявлением если не о своем полном с ними согласии, то, во всяком случае, с изъятием радости, что они этого нигде в жизни не заметили, и даже зависти. Впрочем, нет. Зависти к критикам автор не испытывает.

В СЦЕНАРИЯХ И ФИЛЬМАХ

Сколько на уме.

Что на уме, то на языке.

Все персонажи сообщают в той или иной несложной форме друг другу о том, что они сейчас будут делать.

В подтексте почти что ничего нет. Все одноплановое. И нет мышления. И каждому отведено судить не выше самого.²

■

Отсутствие подтекста в ролях лишает актеров возможности творить образы. Поэтому они не живут, т. е. не мыслят («Я мыслю, следовательно, я существую»). Они чтецы реплик.

■

Верещака. Трудитесь плохо. По-старому.

Тихий. Скажите мне. Если бы вы были не писателем, а земледельцем, как вот мы, как бы вы землю лучше по-новому обрабатывали?

Верещака. Я? Я об этом не думал. Я вообще говорю.

Тихий. Жаль. Вот видите.

Верещака. А вы? Если бы вы были не колхозником, а писателем, о чем бы вы книгу написали? А? Вы об этом

Тихий. Думал. Я написал бы книгу о славном, добром человеке, ласковом и честном. О том, как назначили его, этого человека, на работу, такую, для которой у него в голове едва ли хватает ума. И как этот человек постепенно стал злым, нечестным, гадким и несчастным. И как из-за него стали несчастными многие хорошие и умные люди. Не перебивайте.

Верещака. Да. Может быть, вы назовете и фамилию этого человека?

Тихий. Могу назвать. Могу и не назвать.

11. X. 1954

Р О М А Н во всех его проявлениях разложить на пять пар.

Любовь и радость.

Ревность и страдание.

Рождение детей.

Разлуку[а?].

Слияние сердец, счастье обладания.

Обман и гнусность.

Стремление ввысь и помощь друга.

Стремление ввысь и тормоз мещанки.

Ошибки сердца.

Гармония.

Из всех этих повседневных явлений сочетать один верный и точный роман. Переплесть все судьбы пар.

Н О Ч Ь

1. Они в степи обнялись (тема моря).
2. Они потонули в закрывшем их море.
3. Другая пара на лодке на Днепре.
4. Лодка на Днепре. Они в ней лежат,

4-а. Сцена подлая.

5. Она одна я степи. Страдание. Музыка.

6. Фивчук ложится спать.

15. X

Н. Наховна

Был я счастлив целый месяц. Ну только трудно мне. Огромные скопища дум не дают мне покоя ни днем, ни ночью, и давление крови обессиливает меня и заставляет порой задумываться — долго ли я проработаю, или уже пришла пора складывать оружие.

Я мыслил образами, потому что я художник. Это было творчество радостное, легкое и, казалось, бездонное. У меня была крылатая душа, и ум, и сердце. Все гармонично сочеталось во мне, и творчество мое радовало людей. И сам я радовал людей своим видом и характером.

Шли годы. И все чаще и чаще стало мне казаться, что я уже не тот. Мышление образами стало покидать меня. Из крыльев моих словно ветром вырвало перья.

Я стал мыслить идеями, потому что мне уже точно, документально известно, на какой год в моих чувствах придется создание моего Евгения Онегина, моего Тараса Бульбы, моего запланированного Короля Лира.¹

22. X, 1954

Деталь:

ездил с М. в Старую Каховку. Хотел найти водстроевцев неуловимых. Два раза не застал. И оба раза меня поражали секретарши зава и парторга. Обе довольно хорошенькие, молодые, с хорошими фигурами. Но морды у обеих злые, как у гадюк. Они никогда не видели меня в жизни, не знают, кто я. Но обе огрызались на мои вопросы, как будто перед ними стоял не седой посетитель, а их злейший враг.

Какое дурацкое отсутствие элементарного воспитания. Так хотелось сказать: улыбнись ты, дура паршивая. Попроси меня приветливо сесть. Какие идиоты тебя воспитали? Какой дурак взял тебя к себе на работу?

Потом я подумал: нет, помолчу. И тихо уйду.

Возможно, они копируют своих начальников...

23. X, 1954

РОДНОЕ

— ...Да! Захожу я к Петру Ивановичу. Сколько лет не виделись! Человек культурный, море обаяния. Есть нам что вспомнить. Словом, встреча почти что близких друзей. Разговоры высокие, политически устремленные к самым вершинам коммунизма. Продвинулся Петр Иванович, продвинулся здорово! Во как взлетел! Ну и опыт, конечно, руководящей работы, и внешность, и голос, и улыбка, и что-то такое, эдакое, высокое и пленительно руководящее на лице... Но вот звонок секретарши. Петру Ивановичу надо кого-то принять. Кто-то сейчас должен к нему войти, кто-то из подчиненных. Почему. я это знаю? Я вижу: Петр Иванович незаметно для себя и для меня, в силу привычки, уже другой человек... Посетитель входит... Разговор у посетителя со строгим, крепким руководством краток. Мрачное руководство, тяжелое, бездушное и бесчувственное, этого милейшего Петра Ивановича вправляет мозги вошедшему, по-видимому умному и несчастливому человеку.

Он подавленно выходит, сопровождаемый тяжелым взглядом.

Кресло поворачивается в мою сторону, и передо мной снова лирический любитель вольной шутки, немного скептик и прочее, и прочее, и прочее[.] Милиага.

Петр Иванович:

— Да! И вот, значит, это самое, прихожу я домой...

Я думаю: господи, откуда эта артистичность?.. Ты уже не-
досыгаем, непроницаем, обтекаем. Ты всемогущ. Сколько же
тебе лет? Никому не высчитать. Ты стар как мир. Пятна ль на
тебе капитализма? Или ты уже и при феодализме был тот
сукин сын?..

НЕ ГОВОРите — НЕТ КОНФЛИКТА. ЕСТЬ КОНФЛИКТ

Вчера вечером я долго сидел у А. Мы перебрали много
тем и не заметили, как пролетело два часа. Как и всегда,
этот человек нравился мне. Поэтому я получал удовольствие
от общения с ним.

— Скажите мне, С. Н., чего вы могли свободно и, так
сказать, безнаказанно не делать в Каховке все эти четыре
года?

— То есть?

С. Н. поднял свою могучую голову и слегка зажмурил
глаза. Он, по-видимому, немного устал.

— Ну, могли бы вы не асфальтировать улиц, не сажать
деревьев, не строить дома культуры?

— Боже мой! — В голосе С. Н. слышались сложные
нотки: удивления наивности вопроса, смех, огорчение. — Да
я ничего не должен был этого делать. Это всё мои преступ-
ления! Дома, театр, асфальт, озеленение, архитектура, все,
что вас здесь привлекает, что радует человеческий взор, что
придает стройке ощущение благоустроенного нового горо-
да, — это же все сплошной мне упрек. Все мне поставлено
в строку. «Что вы здесь наделали? Кто вы? Гидростроитель
или градостроитель?»

А. начал рассказывать мне всю историю создания горо-
да — это поразительно.

Вот на чем можно создать пьесу, роман о рождении города, который любят уже горожане и уже гордятся им и за который строитель получает упреки от высокопоставленных свиней.

— Вы что здесь настроили? Кто вам позволил? Вы видели в К? Как там Иванов — Петров — Баранов работает? Построил простейшие бараки, койки в три яруса, по сто, по сто двадцать человек на барак, — и все! И работают! А вы что думали? Не работают? Работают! Во как. А ты, мать твою растак, двухэтажные бани здесь, да каменные двухэтажные квартиры, да асфальты... ты на это разбазариваешь?.. — И так далее, и тому подобное дикое, невообразимое. И это кто, вы думаете? Зам. министра...

Я сидел пораженный.

— Я на чем удержался? — А. задумался. — Меня поддержало украинское правительство. Да, да, они все поддерживали меня, и украинский ЦК. Тут совсем другое понимание вещей.

Вот, собственно говоря, и все².

■

— А какие здесь инженеры, мастера, рабочие. Это — гвардия. Это аристократы духа. Удивительно благородный, счастливый какой-то коллектив!..

26. X. 1954

Чудо со мной. Мне стало легче. И настроение изменилось. Немного упало давление. Начал писать, ходил в глазную больницу, в аптеку. И хотя ходить тяжело, болит в груди, я стал веселым, бодрым. Должно быть, потому, что Юлия позвонила. А день снова сказочный.

Днепр, и небо, и осоки, и казацкий остров — всё меня чарует. Тепло и тихо. Благословенна осень...

28. X. 1954

Вчера закончил свой доклад о сельском строительстве для подачи в Совет Министров и отдал перепечатывать. Вечером перед сном рассказывал своему новому соседу Г. Д. идею создания в Киеве под непосредственным шефством правительства небольшой группы художников-монументалистов, архитекторов, резчиков по дереву и керамистов для того, чтобы, выбрав село, скажем Опошню, и предварительно договорившись с колхозниками, перестроить его за несколько лет так, чтобы оно стало образцовым центром внимания всех строителей, колхозников, туристов, искусствоведов. Еще лучше: создать бы две или даже три такие группы, чтобы они работали в разных селах. Надо создавать новые образцовые очаги культурного строительства на селе. Я вспомнил Пикассо и Леже. Что сделал Пикассо в одном из захолустных керамических городков!

28. X. 1954

Завтра точно еду, покидаю свою любимую Новую Каховку. Еду сперва в Киев, куда меня вызвали на заседание у Н. в связи с моей докладной запиской. Об этом уведомил меня ученый секретарь Академии архитектуры С. По поручению Н., который сам не мог позвонить, потому что «его вызвали на заседание». Ну пусть хоть так, пусть заседает в 9.30 утра.

Поеду. Увижу, что за народ Академия архитектуры и как она меня примет. Я же еду в чужой приход...

Итак, прощай, Каховка, прощай, Днепр мой любимый, прощайте, осокори. Дай бог встретиться с вами еще раз. Спасибо. Много радости принесли вы мне. И вы, люди прекрасные, которых я глубоко люблю, мастера, строители, до свидания.

4. XI. 1954

Что я сделал здесь хорошего?

В кругах архитектурных.

Я затеял дело по-настоящему государственного плана, если архитекторы его примут. Девятнадцатого ноября буду выступать на пленуме Академии архитектуры по вопросам строительства новой деревни. Доклад я уже написал и, прочитав лично т. Н., вручил ему. На другой день он на встрече в Академии архитектуры предложил мне прочитать его на пленуме.

7. XI. 1954

Очень рад, что на заседании Президиума Академии архитектуры в присутствии тт. Н., С. и К. приняты мои запорожские чайки* на вводных воротах шлюза Каховской ГЭС. Теперь, если хватит у скульпторов пороха и культуры, будет хоть один памятник нашим збройным** предкам. Нигде ведь ничего за триста лет! Как будто их и не было на свете...

И доклад мой в Совет Министров о худ[ожественном] оформлении Каховского моря, по-видимому, сыграет свою роль.

14. X[XI?]

Прекрасное впечатление произвел на меня вчера Петр Петрович Кончаловский. Его работы, написанные за минувшее лето, едва ли не лучше всех его предыдущих работ. И это на восьмидесятом году жизни, — вот богатырь художник.

Рассказывал мне о Пикассо...

* Чайки (здесь) — гребные суда запорожских казаков.
** Вооруженным (укр.).

Болит аорта. Мучился всю ночь.

Слава богу, поезд остановился на 10 минут, и я немного отдохну.

Какое множество наших поступков и взглядов обусловлено личными фактами (факторами). Я наблюдаю это повсюду.

Сталин когда-то приказал, кажется по поводу моего Мичурина, запретить на экране показ личного, частного в жизни великих людей.

Нам, мол, интересна только научно-общественная сторона жизни человека. Почему же?

29, XI

Москва

Холодно. День и ночь за окном не переставая гудят машины. Просидел целый день над сценарием...

23, XII, 1954

Художественное произведение всегда представляет собою протест в пользу кого-нибудь, или против кого-нибудь, или чего-нибудь.

Не следует хитрить с читателем. Когда вы пишете, представляйте себе, что вы завтра умрете и что вы пишете завещание для своих любимых детей.

Не бойтесь увлечения. Бойтесь лжи утрировки.

Ничто, никакой ряд живых и ловких сцен не заслонит отсутствие основной идеи.

А идея является сама, если в романе есть две живые неодинаковые личности.

По закону природы: достаточно соприкосновения двух пластинок металла — холодной и горячей, чтобы потекло электричество.

К ВОПРОСАМ ФОРМЫ

Сделать в фильме один-два больших эпизода, целиком построенных на **стремительном движении. Без единого слова.** На какой-то одной стремительной ноте.

Один из этих эпизодов — конечно, наступление моря, разлив чарующий, веселый, велико-
лепный. От Киева до Каховки. Это необыкновен-
ная весна.

Второй, возможно, эпизод Серка. Это движение запорожской конницы в степях. Это битвы, погони, угон людей, скота и снова битвы. И снова движение в степи.

И потом уже речь Кошевого.

ПРОСТРАНСТВО

Самолеты, радиотелефонирование.

Надо сделать так, чтобы в картине не было тесно. И чтоб она была не рваная, не фрагментарная. Надо действие, происходящее на большом пространстве строительства, правильно расположить и объединить на общем фоне.

30, XII, 1954

О ЦВЕТЕ, О КРАСОТЕ

Записать в сценарии несколько раз. Раскидать эти мысли по всему полю сценария.

Описать подробно льдины, разливы, сады в цвету. Всю душу природы в цвету. Все движение сил. Приложить ухо к земле.

Летать с пчелами на каждый цветок. Зачем! Ведь это будет снято, а может быть, нет, 284

смотря по обстоятельствам. Все равно, записать так, словно будет снято, точно именно так и люди будут смотреть заснятое через сто лет, как живопись, как летопись.

ВНЕСТИ В ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ

Такой герой мой или не такой? Расспрошу людей, — кто скажет правду? Ведь всякий уже носит его в душе, создав по образу и подобию своему.

Один скажет — он был безумец, другой — дурак. Маленькие души уменьшат его до своих пигмейских размеров и скажут о нем свою пигмейскую правду: он матерился, был молчалив, много ел и пил и ездил на «ЗИМе» — именно то мелочное, что, уменьшаясь до пигмейских размеров, часто не то что моего героя, а даже великого человека делает близким и понятным пигмеям.

Воробьев спросить — скажут, наверно, что орел плохо летал по кустам и конопле. А как орел за облаками летает — об этом надо спросить орлиную стаю.

1955 год

5.1. 1955

ФОН

Для всего фильма помнить: фон никогда не должен быть пустым. На втором, третьем и даже на четвертом плане всегда должно происходить что-либо бытовое, предельно правдивое.

Тогда образы будут плавать в живой среде, а не в безвоздушном выборочном пространстве.

Порой происходящее на фоне может выходить на первый план. Это детали крупноплановые, почерпнутые из среды. Они короткие, идут под фонограмму главного действия.

Прим[ечание]: играющие возле президиума дети, женщины с детьми на руках, которым герои дают дорогу, и т. д.¹

2 часа ночи,
суббота. 12 ноября

Писать только правду. Не изменять ей ни под каким видом. Помнить о времени, о народе, о своем возрасте. Поднять ее высоко и нести у самого сердца.

Катерину и Голика трактовать одинаково, без разделения на положительных и отрицательных. Не бояться никаких страстей, никаких обобщений.

Бояться только лжи и утрировки.

■

— Счастье, счастье... Обойдемся и так. Есть вещи более важные, чем счастье.

— Какие?

— Какие? Долг. Обязанность.

ПЕЧАЛЬ

Гнев может быть очень сильным. Но печаль не доводит до отчаяния, истерии. Это, в общем, не драма. Это жизнь наша. А жизнь прекрасна. И люди, творящие ее, в общем прекрасны.

Сцены печали должны быть легкими, как облака.

Нерастраченная нежность должна быть подсмотрена и выражена, философическая мудрость и щедрость народа — творца, воина, художника.

Отсюда: сцены жалости по поводу затопления, прощания с хатой или когда рубят грушу, прощания с сыновьями и т. д. и даже разлуки в драматическом романе, если надо, пусть будут... пусть трогают и вызывают даже улыбку, но не страх и страдание. Во всем должно быть жизнеутверждение, душевное изящество народа.²



Один из персонажей — молодой парень. Глаза талантливые, широко раскрытые в жизнь. Всему радостно удивляется. Открывает в себе всякий раз все новые и новые таланты.

— У меня, дяденька, вчера вечером открылся новый талант.

Писанка. Удивляясь, задает неожиданные и самые невероятнейшие вопросы, вроде:

— К чему эти вербы?

— Почему стало так некрасиво?

Он счастливiec. Все, чего он ни пожелает, исполняется. Хочу того-то (воспоминания о Щорсе). Диалог о красоте и социализме.

Не хочу я верб.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕПРЕМЕННО ¹

Н. Н. знал, что он никогда не любил людей. Совсем не любил народа, то есть ни рабочих, ни крестьян, ни буржуазии.

Это презрение ко всему на свете спасало его, как ему казалось, от сознания собственного ничтожества и пустоты и было единственным открытым девизом его жизни. Война, мир — не все ли равно. «Важно быть на волне» — вот какой это был писатель.

У него нет друзей.

— Не надо мне друзей. Достаточно с меня дружбы народов.

Короче говоря, он хам.

— У него слабость считать себя за важную персону.

— Он и есть важная персона. Ведь, как ни говорите, он поднялся до высшей должности.

— Конечно. Только не забывайте, что порою ящерица не хуже орла достигает самых высоких горных вершин.

— Господи! Это невозможно слушать.²

Я человек. Мне свойственно все человеческое. Не могу я состоять из одних молекул энтузиазма.

Я должен есть, пить. И чтобы на меня дождь не шел в доме.

И я не хочу быть совсем похожим на страшилище.

Я не хочу моим внешним видом принижать мое прекрасное социалистическое государство...

— Есть руководители, есть и писатели, которые из-за высоких идей не видят людей.

— Если это так, значит, он просто их не видит, без всяких идей. Никого, кроме себя, не любит.¹

30. XII, 1955

КРАВЧИНА

— Мы были с тобою ведь кто? Самые обыкновенные люди.

— Ну а сейчас? Мы кто?

— Как кто? Сейчас мы необыкновенные люди.

Я посмотрел сегодня на строительство, послушал, что говорят, — это совсем другой мир. Это именно необыкновенный. До сего дня я, признаюсь тебе, вот даже войну прошел — не понимал жизни, — сегодня понял.²

1956 год

11. X, 1956

Нести чувство на сцене и на экране — нетрудно. Трудно нести мысль. Что такое жизнь, как не непрерывный сложнейший процесс борьбы стремлений, идей, мыслей индивидов и масс человеческих. Что же делать актерам, если они не думают, потому что их не учили думать.

Поэтому они — чтецы слов или артисты, которые играют мысли, не мысля.

Вот это отсутствие собственного, совершенно индивидуального и неповторимого мышления и создает, по сути, печальную картину неинтеллигентности наших фильмов.

7. XI, 1956

Рассказывал полковник К. такую быль о своем друге. Сюжет, достойный Шекспира. Во время боевого вылета погибает лучший командир звена. На глазах у товарищей он

сбивает одну за другой три вражеские машины, идет на танк, сбивает четвертого и сам, подожженный в этот миг, падает огненным шаром на вражескую территорию. Память его почтили торжественными словами. И наградили посмертно званием Героя Советского Союза.

Миновала мировая война. Оказалось, что он упал на территорию врага живой, полубогорелый, изломанный. Его вылечили. И вот... Дома узнает: лишили его звания Героя и т. д. и т. п.

— Товарищи, за что?

— Как за что? Но вы же были Указом награждены званием Героя...

— Да.

— ...посмертно. А вы живы.

— Ну и что? Разве мой подвиг оттого уменьшился?

— Дело не в подвиге. Был Указ — посмертно. А раз вы живы, вы тем самым уже не отвечаете форме Указа. И поэтому...

— Что потому?

— Потому никакой вы не Герой. Для звания Героя мы должны представить все заново, а где основания? Кто может засвидетельствовать ваши подвиги?

— Такие-то и такие-то.

— Но они же все погибли...

— Так что же это получается, как же так?

— А так, что вы живы. Могли же вы, попав в плен, застрелиться?

— Постойте, что вы сказали?

— Если вы Герой, как же вы могли сдаться в плен?

— Я не сдавался. Я упал вместе с самолетом и чудом остался жив в огне.

— Так. А где вы возьмете доказательства, что вы были в огне и руки ваши не в силах были держать пистолет?..

... Долго рассказывал мне полковник К., а я слушал его и ужасался. Это был один из самых ужасающих рассказов моего времени...



Есть что-то глубокое в этом образовании моря, что-то похожее на историческую судьбу нашего народа. Расширяются берега, новые морские горизонты волнуют сердца строителей...

Движение сюжета в пространстве: Земля — Марс — возможно, еще одна планета — Земля. Предполагается ошибка в расчетах при взлете. Поэтому летали восемь с лишним лет «вдогонку».

Экипаж космического корабля — три молодых советских инженера.

Один из них несчастлив в личной жизни: он и на Марсе не найдет себе забвения, ему и там будут сниться земные тревожные сны.

Разрабатывается подробно научная сторона полета, начиная с приготовления. Полет и старт. Разрабатывается величественная эпопея пребывания в Космосе.

293 Приблизились к Марсу. Временно превращаются в его спутника. Все ближе и ближе вокруг планеты. Разгадка ка-

налов, морей, полюсов, растительности. Исключительное напряжение.

Посадка. Люди выходят из ракеты на новую планету.

Марс. Все главное, что можно сказать о нем и показать сегодня на цветном широком экране.

Признаки разумных существ. Где они? Какие? Может быть, они давно живут уже в самой планете, как в метро, на глубине 10—12 километров, изредка поднимаясь на поверхность, как мы в стратосферу. Тогда нужно путешествие в «планету».

Каковы марсиане? Подобны карликам, подросткам или как мы? Чем отличны от нас?

Использовать в фильме земную хронику Великой Отечественной войны, великих битв, строев наших и китайских, великих собраний молодежи всего мира, разливов рек, гигантских атомных взрывов и катастроф в Японии. (из фильмов).

Эти хроники можно использовать для контраста в тиши космического полета или как земную «визитную карточку» в виде демонстрации фильма марсианам.

Вспомнить Циолковского: рождение мальчика-сына и смерть сына. Восторг отца и скорбь его в Космосе. Музыка Шостаковича.

Сколько нам лет? Что мы знаем о себе? В общем, двадцать тысяч, а по сути семь-восемь тысяч. Марсиане, предположим, свой счет ведут уже примерно в полтора миллиона лет.

Все сделать так, чтобы фильм не получился трагедийным.

В фильме должны быть особые дикторские тексты и особые внутренние монологи и диалоги и, как ни в одном из доселе существующих фильмов, — тишина Космоса. Она сложная. Это может быть обычная тишина или музыкальная. Может быть тишина сна: спящие несутся в Космосе, и снятся им песни и сны Земли. Тишина созерцания и самосозерцания. Тишина свободы, тишина обреченности, тишина сожаления.

ния, отрешенности от мелкого, преходящего, тишина восторга, мышления и т. д.

В сюжете должна фигурировать земная астрономическая обсерватория и астрономия другой планеты.

При помощи дикторского текста и соответствующего краткого и выразительного показа — что же происходит на Земле? Что делала Мария? Она ждала восемь лет, глядя в небо каждую ночь. Она покрылась сединой и все же оставалась юной. Время, допустим, отступило перед силою ее надежды.

Все сделать, чтобы в сценарии не было символики, а была новая поэзия, новая героика и лиризм нового мировидения. Этот фильм — новая поэма о человеке второй половины XX века, о решении величайшей из сверхзадач человечества. В конце века человек, возможно, вылетит из замкнутой сферы Солнечной системы.

Один из героев не возвратится на Землю. Он погибнет в другом мире или останется там навсегда по какой-то причине. Для кого-то торжество возвращения будет неполным. Кто-то будет смотреть в холодное темное небо без надежды уже на привет, как и бывает и будет в жизни. Это должно придать фильму человечность.

Прочсть все, что можно, о темных спутниках звезд, то есть о планетах, которых, возможно, в нашей Галактике миллионы и наличие которых совсем по-другому рисует нам картину «народонаселения» Галактики.

Весь мир следит за полетом, все радиостанции мира, все радиолюбители, передовые ученые. Этому посвящаются астрономические конференции в Москве, Париже, Вашингтоне, в Риме. Они получают радиопередачи. Потом они узнают, что «Марса на месте не оказалось». Что происходит дальше? Как протекает время?

Потом сигналы исчезли на семь с лишним лет, и все замолкло.

Но вот снова отыскался их след, снова услышали их призывные, и снова взволновался весь земной наш мир.

Попытаемся сделать еще одну почти немыслимую вещь, которая тем не менее имеет право на научное предположение: у них на ракетоплане особой конструкции съемочный телевизор. При помощи этого аппарата они передают на Землю все, что видят. Таким образом, люди на Земле видят Марс и марсиан. Здесь, на Земле, могут быть созданы удивительные сцены: созерцание, комментарии, обращение путешественников к людям Земли и к своим близким: «Я знаю, вы только видите меня и мою артикуляцию, потому что я обращаюсь к вам с другой планеты на нашем родном языке. Но я никогда не забуду ни своих мыслей, ни потрясений, ни восторгов, и, когда я возвращусь, я повторю все, все точно, ибо этого нельзя забыть...»

По телевизору передается только изображение, ни одного звука не долетает ввиду отсутствия воздушной среды. Но профессор Соколянский читает немую артикуляцию точно.

А какова скорость человеческой мысли? Беспредельна ли она или тоже преодолевает пространство во времени?

Разумные существа, допустим, где-то, если позволить себе эту вольность, не пользуются обычной речью. Они уже миллионы лет читают мысли друг друга. Тогда вся межпланетная, или, точнее, инопланетная, часть фильма будет немая. Все будут комментировать диктор или дикторы.

Кто они, эти разумные существа? Если их вообще там нет — это пессимистично. Если они выше нас — тысячи вопросов. Если ниже — интересно ли это? Иные? Какие иные? Также же, как мы, — тоже надо подумать.

О каналах? Да, бесконечными лентами тянутся каналы — синие насаждения, но нет ни гор, ни пропастей. Нет наших рек, привольных, молодых, и нет наших морей. Везде, куда ни глянет глаз, — невероятный цвет, голубовато-синий или

темно-оранжевый. Это совершенно другой, холодный, неуютный мир.

Надо ли показывать, как марсиане, если они живут на поверхности, как они, заметив корабль в своем странном небе, волнуются? Спешат ли они к месту старта? Или же ракетоплан садится в мертвой пустыне, и марсиане покажутся нашим путникам так же недостижимыми, как глубоководные рыбы в наших океанах? Может ли это быть?

Как решать в фильме проблему дыхания, тепла? Ведь, по нашим данным, на поверхности Марса примерно то же сегодня, что у нас на Земле на высоте 15 километров.

Если допустить самое увлекательное, что наши герои фиксируют все свое окружение и люди на Земле все это видят, — какой создается простор для мыслей! Какими жалкими и уродливыми знаками отсталости покажутся тогда еще раз колониальная политика земных империалистов, всевозможные виды и запахи разных национализмов, войн, блокад! Как раздвинется человеческий мир, все вырастет на тысячу голов, все сознание подыметесь на сверкающую высоту!

Может быть, все, что покажут телевизоры, неправда? Не есть ли это всеобщее безумие? Всеобщий мировой гипноз? Допустим, где-то дипломаты постановят выключить все телевизоры Земли! На полгода! Выключили... Все в порядке. Все снова стало на место.

Проходит полгода. Снова включили. И снова на всех телевизорах одно и то же — немые изображения нового мира, новых существ и наших героев среди них.

Будут показаны как участники фильма выдающиеся люди современности: Шостакович, Пикассо, Эйнштейн, Тольятти, Пабло Неруда, Жюлио-Кюри, председатель колхоза из-под Запорожья, а также матери героев Космоса. Таким образом будет подчеркнута волнующая достоверность этого фантастического фильма.

Еще неизвестно, будут ли названные люди говорить что-либо по поводу необычайного зрелища в телевизоре, или мы покажем их на Всемирном конгрессе мира, или проиграем марсианам Десятую трагическую симфонию Шостаковича.

Возникнет тогда в новом качестве величайший из вопросов: что такое наша жизнь и смерть, или, правильнее, что такое бытие? Не постучится ли в каждое сознание тогда все-ленское гармоническое нескончаемое единство?

И станет еще известно по ходу фильма: разумные существа поднялись культурно неизмеримо выше нас, жителей Земли, только на тех планетах, где они все пришли к коммунизму. Там же, где по тем или иным причинам это не удалось, они выродились и, опустошив свои планеты в битвах, погибли. Их погубили деспоты и глупцы.

Обратный полет на Землю. Земля с Марса. Приближение. Старт.

Откуда они возвратились? Из сказки? Возвратились из других миров туда, где они родились, где им надлежит умереть. Поэтому они стали на Земле на колени, потом легли и поцеловали ее, заплакав от счастья.

Для чего все это? Что это за фантазия? Какой в ней смысл? Можно утверждать, что это нужно для развития человечества. Это новая его творческая сверхзадача, новая поэма о вечном огне Прометея.

Эту поэму можем создать только мы, люди рождающегося коммунистического общества, и никогда — наши американские антиподы.

Американцы сделали уже ряд картин на космическом материале. Эти картины, переполненные сценами межпланетных войн, по сути говоря, продолжают гангстерский жанр в межпланетном масштабе. Наши враги сеют таким образом в сознании народов космический пессимизм. Несомненно, это устраивает церковь. Это американский путь к богу.

Таким образом, создание научно-фантастического фильма «В глубинах Космоса» явится великолепным ответом голливудским мракобесам. Это будет фильм разумный и радостный, прославляющий человеческий гений, а не гнетущий, не подавляющий сознание людей.

Полный увлекательнейшей зрелищности, вмещающий в себе огромные пространства, и время, и движение в пространстве, то есть новое ощущение мира, он будет одинаково интересен и академикам и детям.

Москва, 14. VI, 1954

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО — ПИСАТЕЛЬ

Я живу на улице Довженко в писательском городке под Москвой. После его смерти мы — его друзья и соседи — обратились с просьбой в районный Совет, чтобы та улица, на которой он жил, была названа его именем. Так в молодом нашем поселке, где улицы, еще не так давно безымянные, постепенно озвучивались именами уходящих замечательных наших собратьев по перу и бессмертных наших классиков, возникла улица в память единственного в своем роде художника-кинематографиста, единственного здесь кинематографиста среди писателей. Не потому, конечно, только, что его «хата» стояла рядом с нашими, а потому, что он «между нами жил» в своем и нашем искусстве, потому, что его литературное творчество сценариста стало частью нашей советской литературы. Оно вошло в нее не как особый жанр, а как особый литературный стиль. Я не хочу обидеть высокоодаренных мастеров великой киноармии, без которой Довженко не мог стать и не стал бы тем, кем он стал, но у меня осталось от многих встреч с ним впечатление, что более близкими для него людьми были литераторы. Может быть, потому, что в об-

щении с писателями Александр Петрович отдыхал от деловых забот, от сложных страстей кинофабрики...

Встречался он с нами здесь на исходе недели, после поглощавших его неистовых бурь — трудов художника, данника двух муз — кино и литературы, если можно так сказать, поскольку в античной мифологии муза кино еще не была предусмотрена. Александр Петрович предавался свободным размышлениям и думам об искусстве, делился с нами воспоминаниями о недавнем прошлом. Вот тут, возле этого деревянного мостика, опершись на его перила, он вспоминал — это было в осень 1954 года, в осень его шестидесятилетия,— что было тормозом на его пути художника.

Своим творчеством Довженко доказал, что художник, сознающий себя частью народа и выражающий его волю, больше и сильнее любых препятствий и тормозов на своем пути. Все же с горечью подводил он итоги сделанному им в речи на своем юбилейном вечере: «Я был задуман на большее... В этом трагедия художника, которому невозможно было не замыкаться в себе, чтобы не быть растоптанным «земным богом». «Будучи весьма малым, прощаю вам малость вашу и зло, ибо и вы несовершенны, как бы ни молились вам люди...» — завершает Довженко ту же свою дневниковую запись, одну из многих, помогающих понять, каких мук душевных стоили ему его победы. Ведь по своей натуре он был победитель, а не страстотерпец — такие картины, как «Земля» и «Мичурин», среди других в разных отношениях замечательных поставленных им кинопроизведений, сохраняют свое значение неповторимых, самобытных образцов нашего киноискусства, которые светят на весь мир. Вспоминая о них, мы думаем не о страданиях автора, создавшего их вопреки преградам, которые ставили перед ним произвол деспота и чиновничий страх перед новым, но о дерзновении художника, воплотившего свое видение мира.

Однако несколько написанных Довженко сценариев остались в рукописях, автор не успел и не смог реализовать их на экране. Вообразите себе, что перо писателя или кисть живописца увеличились в своем весе до многих десятков килограммов; для того чтобы начертать на бумаге одно лишь слово или нанести на холст мазок краски, от автора потребовалось бы усилие атлета тяжелого веса — вот сумма трудностей и препятствий на пути от образа в сценарии до его воплощения на экране. В последние годы к Довженко все чаще приходили мысли о спасении в литературе. «Основная цель моей жизни теперь — не кинематография, — записывал он 7 ноября 1945 года, — у меня уже нет физических сил для нее. Я создал ничтожно малое число кинофильмов, убив на это весь цвет своей жизни, — не по своей вине. Я жертва варварских условий труда. Вот почему, спохватившись только сейчас и думая о напрасной трате времени и сил в кино, не к кинолентке, коварной целлюлозе, обращаю сейчас свой духовный взор. Я хотел бы умереть после того, как напишу одну книжку про украинский народ».

Довженко всегда писал сам сценарии для своих картин (единичные исключения в начале его работы в кино — не в счет). Посвятив свою жизнь искусству кино и внеся в него оригинальный вклад, по значению своему идущий сразу же вслед за первооткрывательским подвигом Сергея Эйзенштейна, Довженко страдал от технических и организационных условий фабричного воспроизводства своих творческих замыслов, от «козарства» киноленты. После чтения сценария «Жизнь в цвету» («Мичурин») в Союзе писателей в начале 1946 года, которое вызвало овалцию, Довженко записывает в дневнике: «Я видел перед собой людей, радующихся моему произведению и моей трудоспособности. Радующихся, что я не погиб от удара грубого и жестокого кулака, не стал духовным калекой, хамом и лакем, не впал в отчаяние и не проклял мир.

По Москве уже разнеслись слухи. Театры, шесть театров уже требуют пьесу. Напишу пьесу. Признаться, так не хочется ставить фильм...»

Неистовый художник жаждет излить любовь свою к кино и боится своих порывов, обезволенный «коварной целлюлозой». И вот еще одно признание, которое он делает самому себе в 1947 году, отвечая на вопрос: «Что создало меня как мастера кинематографии?» В раздумье над своей жизнью в искусстве он намечает темы, которые нельзя упустить: «Как я шел на съемку, не готовясь, не нуждаясь в этом. Мне все становилось ясно с начала создания сценария. Я просто повторял процесс...»

И еще одно замечание на эту же тему из записных книжек, сделанное несколько раньше (в 1945 году):

«Картина всегда и неизбежно была хуже, чем я представлял ее и создавал. И это было одним из несчастий моей жизни. Я был мучеником результатов своего творчества. Я ни разу не испытывал наслаждения, даже спокойствия, рассматривая результаты своего безмерно тяжелого и сложного труда. И чем дальше, тем все больше убеждаюсь я, что двадцать лет лучших в своей жизни истратил я напрасно. Что бы я мог создать!»

Конечно, те записи в своем дневнике, которые делает художник, даже если предположить, что делаются они только для себя и являются абсолютно истинными, не всегда следует принимать как абсолютную истину. Многое ведь зависит от временного, преходящего настроения. Однако спасение от «коварства целлюлозы» в неподкупной верности языка художественной литературы — не случайное или временное настроение в записях Довженко. Это концепция творческого пути художника.

Что же это значит? Неужели Довженко совершил ошибку, отдав свою жизнь искусству кино и поделив себя между двумя музами?

Нет, дело обстояло сложнее. Довженко не мог бы стать тем писателем, которого мы знаем, если бы не было кино, а в то же время кино не дало ему полностью развернуться как писателю. В античной мифологии музы считались сестрами, что должно было подчеркнуть родственность между собой всех искусств. Искусство кино, конечно, тоже состоит в этом родстве, в особенности с литературой. С. Эйзенштейн в замечательной работе «Пушкин и кино» показал на примере «Полтавы», как в пушкинском отборе деталей и сцен, общих, средних и крупных планов достигается эффект полного зрительного ощущения, как сочетается партитура зрительная и звуковая, как бы предвосхищая современное монтажное письмо режиссера кино. «Положительно нужен «путеводитель кинематографиста» по классикам литературы», — призывал один из основоположников советской кинематографии к изучению литературного наследия. Тем более без такого «путеводителя кинематографиста» нельзя оценить литературное наследие нашего современника А. П. Довженко.

Создававшееся с таким же прицелом на экранизацию, как слова песни или гимна создаются в надежде на то, что они будут петься, все творчество Довженко было гимном советскому народу. В его литературном наследии рядом с литературными сценариями, которые ему самому не довелось поставить, существуют и такие, которые он сам списал со своих собственных картин, вернув их, таким образом, из кино в литературу. Стихотворение, ставшее песней и раскрывающееся более полно в своей красоте благодаря мелодии, все же продолжает свою жизнь в качестве лирического стихотворения и именно в этом качестве сохраняет особую прелесть. Так живут в литературе сценарии Довженко. Эти драматические кинопоэмы ведут свое происхождение от искусства кино и устремлены к нему.

Могут сказать, что эти произведения остались незавершенными, что они представляют собой варианты и в какой-то мере проекты того, что носилось перед внутренним взором художника и что должно было получить воплощение на экране. Возможно, что это и так. Но в литературном наследии Довженко его авторское чувство получило гораздо более полное удовлетворение, чем в созданных им кинокартинах. Автор радовался, закончив свое писание, — в ожидании и в надежде еще большей радости в дальнейшем. Ведь сценарий должен стать картиной. «Я творил, что хотел, что думал. Я в самом деле был свободным художником в своем искусстве», — записывает Довженко. Мне думается, что он имел в виду прежде всего студию работы над сценарием. И поэтому так радостно говорить о Довженко как о писателе.

Творчество Довженко — современный богатырский эпос. Довженко писал о народе и о себе. Народ был для него такой же стихией, как и земля, на которой он родился, как природа с ее вечной сменой рождения и смерти. Сын неграмотного украинского хлебороба, интеллигент в первом поколении, он прославил высокую интеллигентность как одно из качеств народа, восхитился за победу социализма во всем мире. В его картинах, сценариях и рассказах сильнее всего образы самородных мыслителей и ярых работников. Вот такие целеустремленные натуры, неожиданные, не сразу разгадываемые, восхищают художника и увлекают его на всем творческом пути. От одного созданного им образа к другому Довженко ведет свой монолог о народе. Это и внутренний монолог автора. Вот его признание о своих героях в задуманной им автобиографической книге об искусстве:

«Кто мои герои? Отец, мать, дед и я.

Я — Василь, Щорс, Боженко, Мичурин.

В «Земле» умирает мой дед. Шкурат мой отец.

Я — парень, сидящий с девушкой на завалинке.

Я — Кравчина, Орлюк...»

Народное начало претворяется в образах Довженко как родовое и личное — в этом особое преимущество художника, утверждающего в своем творчестве торжество народа как победу социализма. Социализм для его героев такая же потребность, как жажда любить и творить. Социализм — естественное состояние и положение человека в мире, как естественно человеку радоваться жизни и солнцу, цветам и плодам земли. Это очень счастливое состояние, но оно не дается даром, за него нужно бороться, если нужно, то и отдавать жизнь, вступая в бой против врагов жизни, изуродованных частной собственностью. В «Земле» Довженко идет классовая борьба за колхозы, взятая в крайнем ее накале первых лет коллективизации украинского села. Совершенно неожиданно было то, что трагическая гибель героя представляла как торжество человека, слитного с передовыми силами народа, с плодоношением преобразованной трудом природы. Василь Трубенко, энтузиаст-селькор, триумфально въезжает на первом тракторе в свое село. Это его атака старого уклада жизни. Он сумел убедить отца-середняка в том, что как Днепр не потечет назад, так не потечет назад и жизнь его села, чей завтрашний день только в колхозной артели. И вот уже Василь творит в поле неслыханные дела — перепахал трактором многосотлетние межи, и «лоскутные поля превратились в единую неограниченную бархатную ниву...». Повечерело, и на фоне зачарованного гоголевского пейзажа «тихой украинской ночи», где Василь и Наталка стоят обнявшись, где с поразительной поэтической силой передан рост всего живого под покровом животворящей ночи, рождается смутный страх. Гоголевская традиция здесь обрывается. Распрощавшись с любимой дивчиной, в ночном одиноком танце на пустынной улице родного села, где души людей уже повернулись навстречу новой жизни, падает Василь, подкошенный кулацкой пулей. Вот последние его минуты:

«— А не потанцевать ли мне? — подумал Василь, ощущая в теле необычайную легкость и радость движения. — Дай я немного потанцую, поучусь тихонечко, вот так вот, чтоб никто не видел... Э-э! Да я, кажется, уже танцую. Давай так, давай так, отакечки, так и так!..

От села до села
Танцы да музыка...

Слова неважно какие. Можно и эти старые пока.

Василь сам не заметил, как пыль от гопака зазолотилась между плетнями через всю улочку. И от глухого топота его ног и страстного шепота среди сонного безмолвия создалась вокруг такая тишина и столько согласия во всем от земли до звезд, как будто никогда, сколько мир существует и будет пребывать, не совершался здесь и не совершится ни один недобрый поступок».

В танце Василя, поясняет художник, «торжествующее тело отрывается от земли навстречу лучшему, что несет в отдельном человеке бессмертная душа его народа». Василь счастлив первой колхозной новью, счастлив первой любовью, счастлив животворящими силами природы, счастлив тихой украинской ночью. Против всего этого — против бессмертной души народа, против его настоящего и будущего, против его прошлого — восстает недобрая воля врага жизни — кулака, темного приверженца частного земельного куска. Да, и против прошлого трудового народа — творца всех плодов земли, уверившегося теперь в своем новом пути, который открыла перед ним советская власть. Недаром заключительная картина «Земли», когда проносят Василя мимо садов и мимо цветущих подсолнечников, плодов и цветов, которые почти касаются его лица, перекликается с открывающей «Землю» картиной смерти деда Семена, библейски величественной и красивой картиной, пронизанной удивительным спокойствием — от сознания

исполненного долга перед народом, пронизанной и величественным, а вместе озорным юмором, утверждающим бесконечную преемственность жизни, чудесным украинским юмором:

«— Умираешь, Семен?

— Умираю, Грицько,— тихо признался дед и, слегка улыбнувшись, закрыл глаза.

Подошла мать и, увидев, что происходит в саду, задумалась.

— Так. Ну, умирай,— сказал Григорий и отвернулся.

На траве, среди опавших яблок, сидело одно наше дитя, совсем еще не понимавшее жизни. Раскрыв рот, оно всячески старалось вкусить яблоко двумя своими первыми зубками, но яблоко было большое, на него у дитяти не хватало еще рта.

— Умирай, Семен,— сказал Григорий,— да там уж, как умрешь, подай мне с того света знак, где ты там будешь — в раю чи в пекле — и как тебе там.

— Добре, Грицько,— пообещал дед, собравшись в последнее чумакование.

Да, так написать смерть мог только Довженко, художник жизни, художник земли.

«Земля», созданная в 1929—1930 гг., то есть в самые первые годы перехода к колхозному строю, стала программой в творчестве Довженко. Василь — борец за новое — не отвлеченный, не абстрактный новый человек. Он черпает силу для борьбы за будущее не только в идеалах нового, небывалого, но и в традициях, в исполненных поэтической красоты мечтах и обычаях векового строя народной жизни.

«— Грушки любил,— с грустной, задумчивой улыбкой обратился к Орисе старший ее брат селькор Василь и снова посмотрел на деда. Выполнив все, что ему было положено, предок лежал под яблоней в белой сорочке, а на сорочке на груди были сложены рядом все его мозоли».

Василь — «почвенник», и в этом его сила новатора, как и сила создавшего этот образ худож-

ника, недаром образ автобиографический. «Я — Василь...», как сказал Довженко в своей дневниковой записи.

Нарисовав с неподражаемым величием и юмором сцену смерти деда Семена, автор делает следующее пояснение:

«Все вышеизложенное в будущую картину, возможно, не войдет, да вряд ли оно там и нужно. Написано это больше во имя доброго обычая и уважения к своему роду, частично для просвещения артистов».

Известно, что «все вышеизложенное» в картину вошло и стало могучим прологом — запевом к прославлению нового, только что рождавшегося в самой жизни. Я вспоминаю кинокартину «Земля», поставленную режиссером Довженко, в которой появились новые эпизоды и детали, совершенно органические для ее замысла, смело и неожиданно продолжившие образы литературного сценария, и говорю себе: это замечательное литературное произведение представляет собой такую же неотъемлемую часть советской литературы, как и фурмановский «Чапаев», чье место в истории ее стало еще более значительным после гениальной экранизации повести Фурманова. Вспоминаю в связи с этим другого замечательного советского писателя — Михаила Пришвина, в творчестве которого природа выступала едва ли не единственным «корнем жизни». Казалось бы, много общего в том, как возвеличивают природу Довженко и Пришвин, но какая глубокая разница и какое принципиальное своеобразие в философии природы у того и у другого. В пришвинском идеале отношений между человеком и природой рядом с великолепным материалистическим ощущением их единства был и элемент утопии, ставивший героя Пришвина над человеческим обществом. Именно такова позиция студента-химика, героя «Корня жизни», который разводит вместе с китайцем Луvenом диких оленей, добывает драгоценный женьшень и мечтает о своеобразном оленьем государстве-

заповеднике, в котором ему не будет никакого дела до других людей. В дальнейшем, в особенности в своей превосходной «Кладовой солнца» — повести из жизни ребят в колхозе, Пришвин спорил с самим собой, с темой «заповедника», стараясь разглядеть подлинно человеческое, коммунистическое в своих героях, переделывающихся в своей борьбе за преобразование природы на пользу человека. Горький предвосхитил эту эволюцию Пришвина, написав о нем: «... в Ваших книгах я не вижу человека коленопреклоненным перед природой. Да, на мой взгляд, и не о природе пишете Вы, а о большем, чем она,— о Земле, Великой Матери нашей...»

Восторженный гимн природе-матери, созданный Тютчевым, со всем тем проникновенным, что сказано в нем гениальным русским лириком, все же восторг коленопреклоненного человека:

Вы зрите лист и цвет на древе:
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве
Игрою внешних, чуждых сил?..

В довженковском «Мичурине» есть сцена встречи Нового года — 1901-го, начинавшего новый век, у академика Пашкевича. Собравшиеся гости, ученые и студенты, представляющие лучшую демократически настроенную часть русской интеллигенции, с возмущением обсуждают отказ царского департамента земледелия в государственной субсидии на опыты Мичурина. Поднимая новогодний тост, герой Довженко признается в этом кругу людей, где большинство, вместе с хозяином дома, горячо ему сочувствует:

«Мичурин. Я хотел бы в этом веке посягнуть в какой-то мере на мировой порядок.

Карташов. Очень скромно!

Пашкевич. Почему? Пожалуйста.

Мичурин. Деятнадцать веков нашей эры наблюдает человек таинственную изменчивость в природе под влиянием изменчивых окружающих условий. Но если я восстану, как сказать?

Восстану и создам изменчивость в природе по своему желанию? Я имею в виду создание запланированных наследственных изменений...

Студент. Скажите, откуда у вас это понимание?

Мичурин. От отца и деда. Я выращиваю растения с четырех лет. Всю жизнь сижу на грядке и смотрю вниз.

Кичунов (по-видимому, по адресу Карташова). Многие смотрят вниз!

Пашкевич. Да. Только одни видят лужу, другие — звезды. Иван Владимирович видит...

Дочь Пашкевича. ...звезды!

Мичурин. Я вижу сны. Погружаюсь в наблюдение... да. Только сны эти, признаться, пока очень трудно зарабатывать. Иногда один сон в пять лет зарабатываешь, а то и того меньше. За ваше здоровье!

Пашкевич. За ваши сны!

Студенты. За звезды!»

Довженковский «Мичурин», вместе со своим гениальным прототипом, как бы полемизирует здесь с тютчевским «невмешательством» в силы природы: ведь теперь «зреет плод в родимом чреве» на основе «запланированных наследственных изменений». Довженковский герой-мятежник может присоединиться к укору Тютчева по адресу «глухонемых»:

При них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была!

Но самые звезды он видит не только ночные, но и дневные, те самые «дневные звезды», которые так поэтически ввела в нашу литературу Ольга Берггольц как советские звезды, как предвосхищение жизни людей будущего. «Советский человек, — говорит автор этой замечательной романтической повести, — с его титанической биографией не только хочет поделиться своим духовным опытом с современником — с соотечественниками, но и с людьми всего мира, но и с

потомками, и не «немой исповедью», не скороговоркой, а через Главную, Большую книгу своего писателя».

Мы знаем, что подвиг Мичурина — преобразователя природы осуществился только вместе с социалистическим преобразованием общества. «Я — Мичурин», — сказал о себе Довженко, и тогда же он пояснял: я — Василь из «Земли». И недаром оба эти героя довженковского богатырского эпоса встречают свою смерть в окружении цветов и плодов.

Как ни полыхает в «Повести пламенных лет» в потрясающих эпизодах и картинах пламень великой битвы, но образ солдата Ивана Орлюка становится понятным только через Ивана Орлюка — сеятеля, творца плодов земных. Социализм — это жизнь по природе, это жизнь в цвету, говоря словами Довженко. В «Повести пламенных лет» Иван Орлюк держит ответ перед военным трибуналом за то, что самовольно расстрелял при отходе наших войск с Украины двух своих товарищей, пытавшихся дезертировать. Суд происходит в бомбоубежище во время бешеной фашистской бомбежки. Самим соблюдением процессуальных форм судопроизводства в столь необычайной обстановке как бы подчеркивается естественность мужества всех участников этой сцены и нерушимость их веры в незыблемость устоев Советского государства. Однако, чтобы почувствовать своеобразие Довженко, следует напомнить, что в советской литературе об Отечественной войне подобный эпизод встречается не впервые. В романе К. Симонова «Дни и ночи», например, написанном в ходе самой войны, есть аналогичная сцена. На командный пункт к капитану Сабурову приползает под жестоким обстрелом следователь из штаба дивизии, чтобы снять допрос с обвиняемого в дезертирстве красноармейца Степанова. В момент допроса начинается немецкая атака, в отражении которой принимают участие с оружием в руках и следователь и обвиняемый, а после отражения атаки и снятия

допроса следователь выносит постановление — прекратить дело Степанова и отправить его на передовую.

Дело Ивана Орлюка «прекращается» примерно в таком же порядке, как бы подтверждая всеобщность массового героизма в Отечественной войне. Однако вся сцена и поведение героя повернуты у Довженко так, что «будничность» пропадает, и в эстетическом впечатлении на первый план выступает совсем другое, как будто бы не вяжущееся с той обстановкой, в которой происходит суд и допрос обвиняемого. Военный юрист обращается к Орлюку:

«— Так. Продолжайте. Можете продолжать биографию, только покороче.

— Да! — вдруг как-то востропел Орлюк и улыбнулся одними губами. В глазах оставалось страдание. — Так вот я и говорю, что, когда мы убрали сенокос, мы ходили вокруг стогов по семенам. Все свое детство я ходил по семенам. Они были у нас везде, куда ни повернись: в горшках, в узелочках на жердях в сенах, в сарае под крышей, в бочках, в мешках, в мешочках.

Я часто спал в семенах — во ржи, в просе, в ячмене и горохе на печке. Я люблю запах семян. Я в семенах вырос. И мать меня родила тоже среди семян, в жниве под копной.

— Довольно.

— Но это же очень важно. Я сейчас объясню.

— Вы лучше сразу расскажите о своем преступлении, — сказал второй военюрист. — Как вы убили своих товарищей?»

Действительно, тема семян в эпизоде суда самая важная. Когда фашисты прорвали фронт и наши войска покидали Украину, комсомолец Иван Орлюк вместе с двумя товарищами из своей части дал клятву отстоять родную землю, в знак чего каждый из них взял по горстке земли. Когда же на другую ночь Орлюк заметил, что те бросили свои узелки с землей и спрятались, чтобы фронт перекатился через них, он схватил автомат и расстрелял трусов и предателей. Воен-

ный трибунал судит Орлюка за самочинные действия, ему угрожает расстрел. А он с какой-то блаженной улыбкой при воспоминании о своей сладостной мечте агронома — мечте прославить невиданным урожаем свою землю, с гневными слезами сына земли, от которой осталась теперь лишь завернутая в платочек горстка, радостно встречает приговор трибунала — в штрафную роту.

«— А про семена вы очень хорошо говорили, — сказал Величко, следя за уходящими вражескими бомбардировщиками. — И я верю, что рано или поздно, но вы, Орлюк, еще будете сеять над Днепром эти семена... Запомните мои слова.

— Так вы за семена не обиделись?..»

Это и есть самое важное в сцене суда, то праздничное, ради чего живет герой Довженко: труд как радость и наслаждение, социализм, то есть жизнь в цвету, по природе человека, в неразделимом единстве, в постоянном общении с природой, со всем, что растет, дышит, живет. Это главное в эстетике Довженко, в характере его героя, в философии героя и автора.

Смерть застигла Довженко во время последних приготовлений к съемке последнего написанного им сценария «Поэма о море». В этом произведении человек вступает в бой с природой за рождение новой «второй природы», заставляя Днепр течь по новому руслу. Создается новое искусственное море, чтобы избавить украинский юг от грозной опасности стать добычей суховея, преградить дорогу пустыне. Вероятно, Довженко мог бы сказать о героях этого произведения, как раньше он говорил об их предшественниках: я — председатель колхоза Савва Андреевич Зарудный, я — генерал Федорченко, я — Кравчина. О последнем в сценарии говорится, что он «человек гармонический», и автор не скупится на его характеристику. Кравчина — «плотник, столяр, бондарь, пасечник, кузнец, умеет делать крыши, мосты, дома. Он косарь и сеятель, знает все

машины, садоводство, сам делает вино и очень любит петь».

Совсем другой человек Зарудный, печальный богатырь, один из тех рядовых творцов народного подвига, который принял на свои плечи ответственность за выполнение великих работ и обязан со своих односельчан требовать неумолимо. Его скорбь, его тяжелое личное горе, его готовность к полной самоотдаче, как в колхозе, так и раньше, на войне, где он не продвинулся, по его собственному выражению, дальше старшины танковых войск Южного фронта, дают ему силу и право быть судьей неустроенных, недовольных людей. Море народное предстает в поэме Довженко в красочном разнообразии типов и характеров, далеко не «гармонических», наделенных крупными достоинствами и недостатками, передовых и отсталых. Автор не только возносит героическое в этих выходах из одного села, собравшихся перед его затоплением по призыву колхозного председателя. С великолепным сарказмом он бичует пережитки прошлого в людях. И тем не менее автор мог бы сказать о себе вместе с Пушкиным: «Печаль моя светла». Для Довженко существует один критерий, которым он испытывает своих героев, — близость к народу, труженикам земли. «Любите землю. Любите труд на земле. Иначе не будет счастья нам и детям нашим ни на какой планете», — прощается Савва Андреевич Зарудный со своими гостями. «Поэма о море» органически увенчивает творческий путь писателя от его программной «Земли», которую мы имели бы право назвать «Поэмой о земле».

Довженко называют романтиком, конечно революционным романтиком. Слово «романтик» влечет за собой как своего рода синоним другое слово — «мечтатель». О чем может мечтать романтик революционный? Конечно, о будущем, о коммунизме. Но ведь предвосхищение будущего, умение заглянуть в будущее — это главное в искусстве социалистического реализма. То уме-

ние мечтать, предвосхищая объективное развитие действительности, которое так нравилось Ленину в писаревских рассуждениях о важности мечты. Собственно говоря, революционно-романтическое начало является сердцевинной социалистического реализма. Без умения почувствовать перспективу развития, причем не только практически близкую, но и достаточно отдаленную и в то же время непреложную, как историческая закономерность, наш художник не может найти подхода и тона в критике отрицательного в нашей жизни, в изображении трагического в ней. И конечно, чем увереннее, основываясь на настоящем, мысль художника — его мечта «хватает» будущее и чем отчетливее различает его горизонты, тем больше правдивости и действительности достигает художник в своих образах и картинах.

В дневниковой записи от 12 сентября 1954 года — в день своего шестидесятилетия — Довженко отмечал: «...И жаль, что я так мало сделал; порой недоставало позитивного стимула, а негативные никогда не вдохновляли меня ни на что».

Сказать об этом признании, что оно характерно для романтика, — это сказать еще очень мало. Оно характерно для романтизма Довженко, для его индивидуального стиля, для его концепции советского человека, который в своем лучшем, что «несет в отдельном человеке бессмертная душа его народа», со всей полнотой раскрывается лишь при социализме и коммунизме. Герой Довженко несет в будущее эту «бессмертную душу» и ту почву, на которой она только и могла сложиться. И как характерно, что генерал Федорченко из «Поэмы о море», возвращаясь в родное село, где он бегал босногим пастушонком, возвращается воспоминаниями не только к боям Великой Отечественной войны за мильный сердцу Днепр, но и в глубь времен, к юности своего народа, к героическим запорожцам.

На заседании Президиума Украинской академии архитектуры Довженко делает доклад о ху-

дожественном оформлении Каховского моря и Каховской ГЭС — великих сооружений социалистического семилетнего плана. Он записывает с радостью в своем дневнике, что его предложения приняты — на вводных воротах шлюза Каховской ГЭС будут изображены «запорожские чайки» — гребные суда запорожских казаков. «Теперь, если достанет у скульпторов пороха и культуры, — читаем мы в записи от 7 ноября 1954 г., — будет хоть один памятник нашим вооруженным предкам. Нигде ведь ничего за триста лет! Слово их и не было на свете».

Любовь к национальной традиции сочеталась у Довженко с «рафинированностью», с острым интересом к явлениям современного западного искусства. В его дневнике мы не раз встречаем восхищенное упоминание о керамических работах Пикассо. Традиция помогает ему осмыслить новое в искусстве и в жизни. Свою пьесу о делах одного из первых колхозов на Украине вблизи Запорожья в 1930—1932 годах он называет «Потомки запорожцев». Сегодня мы больше чувствуем и некоторую наивность и схематизм в этой пьесе, но нельзя не задуматься над тем, что один из наиболее романтических персонажей — Пасечный, агроном и секретарь партбюро, «душа талантливая, удивленная», по авторской характеристике, для которого социалистическая коллективизация — «его высшее вдохновение и прозрение», с гордостью напоминает членам создающейся колхозной артели, что они потомки тех запорожцев, у которых были артели — курени рыболовецкие, кузнечные, оружейные... Революционный романтик в прошлом видит проекцию будущего. «Настоящее всегда на дороге из прошлого в будущее», — утверждает Довженко. Чувство связи времен ни на один миг не покидает художника. И поэтому с такой горячностью отстаивает Довженко свое право на всю историю: «Почему же я должен пренебрегать всем прошлым? Не для того же, чтоб научить внуков пренебрегать когда-то дорогим и

святым моим настоящим, которое станет для них тоже прошлым, когда-то, в великую эпоху коммунизма». Поэтому так естественны, почвенны, реалистичны народные характеры богатырского эпоса современности у Довженко, так насыщены национальным украинским юмором, не дающим оторваться от сегодняшней реальности, помогающей освоить будущее как «простое, делаемое дело». В той же пьесе «Потомки запорожцев» беспартийный колхозник Тихий протестует против вступления в партию Харитона Гукаса — заместителя председателя колхоза, человека несамостоятельного, во всех отношениях незначительного. Он пытается усовестить Харитона:

«Бо ты дурак еси, Харитон. Не обижайся. Ведь раз уже началось переустройство мира, надо и на дурость глянуть по-иному. Когда-то приватная единоличная дурость была небольшая беда. Даже людей веселила. А вот теперь обобществленная глупость — коллективное горе на целый район... Хочешь, мы будем платить тебе подушное за нейтралитет? Не поступай, ей-богу...»

По-видимому, в тот самый период, когда Довженко уже полностью отдался «Поэме о море» — своему последнему сценарию о завтрашнем изобильном дне родины, когда он задумывал фильм «В глубинах Космоса» — о человеке второй половины XX века, вырвавшемся из замкнутой сферы солнечной галактики, он заканчивал повесть о прошлом, автобиографическую повесть о детстве. «Зачарованная Десна» — так поэтически назвал он свое произведение о ранних впечатлениях бытия, о волшебстве давно ушедшего мира. И параллельно мысль Довженко уносится в «волшебные края» неизведанного будущего, неизведанного, но, как мы теперь знаем, столь близкого к осуществлению: «Если допустить самое увлекательное, — пишет Довженко в своей заявке на фильм о космосе, — что наши герои фиксируют свое окружение и люди на Земле все это видят, — какой создается простор для мыслей! Какими жалкими и уродливыми зна-

ками отсталости покажутся тогда еще раз колониальная политика земных империалистов, всевозможные виды и запахи разных национализмов, войн, блокад! Как раздвинется человеческий мир, все вырастет на тысячу голов, все сознание подымется на сверкающую высоту!.. Не поступится ли в каждое сознание тогда вселенское гармоническое нескончаемое единство?»

«Со сверкающей высоты» человека — победителя в Великой Отечественной войне — Довженко взглянул на мир, оставленный им в детстве, на оставленное, но незабытое, незабываемое и такое живое прошлое, откуда — с берегов Десны — художник унес столько подарков на всю жизнь. С необыкновенным лиризмом заканчивает автор свою автобиографическую повесть обращением к Десне:

«Счастливы я, что родился на твоём берегу, что пил твою мягкую веселую воду, ходил босиком по твоим нетронутым чистейшим пляжам, слушал рыбацкие сказки на твоих челнах и сказания старых про глубокую давность, что считал в тебе зори на опрокинутом небе, что и по сей день, глядя порой вниз, не потерял счастье видеть эти зори даже в будничных лужах житейских дорог».

В «Зачарованной Десне» плывут перед нами мальчик Сашко, его дед, прабаба, отец, мать, вся могучая среда народных характеров и упительной украинской природы, которая окружала будущего художника в раннем детстве. Если детские впечатления являются определяющими для формирования эстетического мира художника, то «Зачарованную Десну» следует признать повестью о начале его творческого пути. Здесь истоки тех образов, ассоциаций, деталей быта и картин нравов, которые так хорошо знакомы нам по фильмам Довженко. Это эпопея-хроника открытия мира крестьянским хлопцем — от уяснения себе ощущений «приятного» и «неприятного», от познания положения человека в мире по фантастической лубочной картинке Страшного суда,

которую мать выменяла на ярмарке за курицу, до трезвого постижения суда людского, где впервые мальчик знакомится с трагическими и смешными обманами жизни. Ни с чем не сравнимая и никого не повторяющая повесть о детстве как первом приобщении к красоте мира, которую не в состоянии скрыть или заслонить ни бедность, ни жалкие предрассудки власть имущих, ни первые горькие обиды и разбитые надежды.

И хотя в «Зачарованной Десне» нет сквозного сюжета и действия и в этом смысле она как сценарий решительно отходит от законов кинодраматургии, но вся протекающая в ней хроника «чрезвычайных происшествий» детского открытия мира увидена глазами кинематографиста и с полной адекватностью может быть воспроизведена именно средствами кино, его исключительными возможностями многоплановости в передаче «зачарованности мира», в фиксации «потока сознания». И в то же время это наиболее цельная, доведенная до соответствия с замыслом художественная проза Довженко. Он вдоволь посмеялся в этом произведении над «здравым смыслом» иных киноредакторов, которые расхваливают восбуждение художника — «не вышло бы чего», предвосхитив знаменитый разговор с редактором в современной поэме, чей докучный образ навязчивого советчика поэта рассеивается, как «сон дурной»:

И только — будь я суевером —
Я б утверждать, пожалуй, мог,
Что с этой полки запах серы
В отдушник медленно протек...

«Зачарованная Десна» и «Поэма о море» создают как бы два аспекта нового человека у Довженко, в котором прошлое и будущее, природа и история сходятся в естественной цельности. Предание и мечта переплелись в творчестве Довженко, составляя сущность его индивидуального стиля, в его облике писателя, для кото-

рого национальная традиция была не просто формой, а самой плотью общечеловеческого, конкретно-историческими «Золотыми воротами» в культуру коммунизма. «Я принадлежу человечеству как художник, и ему я служу, — провозглашает Довженко в своей интимной дневниковой записи. — Буду, хочу жить добротой и любовью к человечеству, к самому дорогому и великому, что создала жизнь, — к человеку, к Ленину».

«Золотые ворота» — так называл Довженко ту книгу, которая жила в его подсознании в течение многих лет и которую он так и не успел написать. Он постоянно возвращается к своему замыслу в дневниковых записях, планируя отдельные эпизоды, фиксируя места разворачивания действия, «географию романа», характеры действующих лиц, лирические отступления, сны и приметы, проблематику целого и его частей.

«Когда я окидываю взглядом границы этой книги, соседние, так сказать, с ней державы, я вижу Дон Кихота, Кола Брюньона, Тиля Уленшпигеля, Муллу Насреддина, Швейка. Я думаю об этом уже лет пять, ища форму. И порою мне кажется, что я нахожу форму. Я хочу так ее написать, чтобы она стала настольной книгой и принесла людям утеху, отдых, добрый совет и понимание жизни...»

Довженко называл свою будущую книгу «народной эпопеей».

Можно сказать, что все его литературное наследие, которое мы здесь смогли охарактеризовать далеко не полностью, направлено было к воплощению этого замысла. Родившись на границе двух великих держав — кино и литературы, творчество Довженко радуется своим великолепным своеобразием и говорит о том, как ярко расцветает личность художника, сознающего себя частью народа и выражающего его волю, как побеждает творец любые препятствия и тормозы на своем пути. Оно входит в историю совет-

ской литературы вкладом могучего таланта, добрым советом оригинального мастера не утратить ничего из предыстории человеческого общества, из истории каждого народа, что могло бы помочь в предстоящем создании народной эпопеи великого искусства коммунизма.

В. Перцов

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАЧАРОВАННАЯ ДЕСНА	5
-------------------------------------	----------

РАССКАЗЫ

На колючей проволоке	69
Ночь перед боем	85
Мать	98
Воля к жизни	106
Отступник	115
Стой, смерть, остановись!	123
Незабываемое	127
Неизвестный. Перевод А. Островского	139
Федорченко. Перевод А. Островского	140
В поле. Перевод А. Островского	142
Бронза. Перевод Л. Бать	143
Хата. Перевод А. Островского	148
Корень жизни. Перевод А. Островского	153
ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК. Перевод В. Рос- сельса	155
В глубинах Космоса	293
В. Перцов. Александр Довженко — писатель	300

ДОВЖЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

ЗАЧАРОВАННАЯ ДЕСНА

М., «Советский писатель», 1964, 324 стр.

Редактор Л. И. Михаловская

Художник Г. В. Дмитриев

Худож. редактор В. И. Морозов

Техн. редактор В. Г. Комм

Корректоры И. Ф. Сологуб и

В. Н. Стаханова

Сдано в набор 4/VIII 1964 г. Подписано
в печать 11/XII 1964 г. А-08470. Бумага
70×108¹/₃₂. Печ. л. 10¹/₂ (14,17). Уч.-изд.
л. 13,21. Тираж 90 000. Зак. № 1196.

Цена 50 коп.

Издательство «Советский писатель»,
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10

Ленинградская типография № 1 «Печатный
Двор» имени А. М. Горького. Главполи-
графпрома Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати,
Гатчинская, 26.

50 коп.

СЦ

